

A girl with long brown hair tied in a braid, wearing a green jacket, stands in a forest. She is looking towards the left. A white squirrel with a black mask and a black tail is perched on a branch above her, looking down at her. The background is filled with various trees and foliage, including purple and green leaves.

Таисья Пьянкова

СОБОЛЁК- КОРОЛЁК

Таисья Пьянкова



СОБОЛЁК-
КОРОЛЁК

НОВОСИБИРСК
2014

Пьянкова Т. Е.

П 96 Соболёк-королёк. – Новосибирск: ООО «Сибирское книжное издательство»,
2014. – 72 с., илл.

ISBN 978-5-904795-60-3

Книга известной сибирской писательницы Таисьи Пьянковой «Берегиня» знакомит читателя с культурными традициями и бытом русского населения Сибири. В произведениях Т. Пьянковой присутствует то сказовое начало, которое определяется понятием «культура языка». Её сказы отличает сознательная ориентация на народно-поэтическое творчество со всеми определяющими произведения фольклора элементами: использование мотивов народных поверий, запевки, прибаутки, временно-географические зачины, использование этнографического материала.



СОБОЛЁК-КОРОЛЁК

Р

аньше частенько приходилось слышать, как семейного кормильца отрывали от дома. В рекруты ли забрывают, за малую ли вину упекут в казённые работы. С купеческого извозу, случалось, не вертались муки. Тогда семье один конец – пропадай!

Мыкается-мыкается бабёнка с голодными ребятишками, покуда Господь её к себе ни возьмёт и останутся гнездовики желторотые у жизни под ногами...

Может, люди бы и рады разобрать их по своим семьям, да чтобы чужому дитёнку дать хлеба кусок, надо было своего по миру посыпать.

Всякое случалось: и с голоду помирали сироты, и живьём замерзали на зимних дорогах, и за малую кроху покорствовали перед всякой человеческой поганью...

Спасение от сиротства было чуду подобно.

Вот и хотелось бы порадовать добрых людей таким чудом, хотя и осознать нельзя, как могло обернуться настоящим придуманное счастье.

Остались в одной деревне трое ребят безо всякой опоры. Мать ихняя померла последними родами. Не минуло и шести лет, как отца, Михея Пораева, приходской поп батюшка Калистрат спровадил в уезд искать бедняцкую правду. Да где ж было суметь нетёсаному, сучковатому бревну переплыть земскую

бумажную реку? И Михей не то на мелководье застрял, не то угодил в самую стремнину. Ещё до Лукеры-комарницы как ушёл Михей со двора, так уж и бабье лето на носу, а о нём ни слуху ни духу...

Ведь за что привязался к Михею батюшко Калистрат? За то, что как-то попёнка полоснул мужик крепкой вожжой. Тот, дурак, Михееву первенку, девчонку лет двенадцати, столкнул с мостков в ещё ледяную воду и выйти на берег не даёт.

Этому поповскому обалдую никакое другое занятие не приставало, кроме как изгаляться над заботами простых людей.

Батюшко Калистрат куда только ни отсыпал своего недопарка ума набираться. И в гимназию старался спихнуть, и в какие-то корпуса добивался.



Однако порченое зёрнышко – хоть в райские кущи. Ему, сказывали, долбят про римского владыку, а он, что сытый мерин, знай ржёт да гарцует. Любою оказией, с приписками да сожалениями, присыпали попёнка обратно.

В сердцах, бывало, батюшка Калистрат нагвоздит ему встречных, прополощет до рёву наставлениями; матушка попадья рыло слюнявое выкормышу своему подотрёт да и прогонит с глаз долой. Он и пошёл по деревне вытвоять, что ему заблагорассудится. Силища-то в нём выдула – ломы гнуть, а укороту никакого.

Парней деревенских попёнок задирать боялся: они бы поговорили с ним по душам – то по шапке, то по ушам. Девчат, у которых братья в бороду пошли, али тех, что успели ухажёрами обзавестись, тоже огибал. Что же перед безбрательными полудевками – выкобенивался, хоть плюнь, хоть разотри...

Те, как могли, остерегались его, а Михеевой девчонке и в голову не западала ещё осторожность-то. Делает и делает свои дела, суетится, не прячется. То на речку – бельё полоскать, то гусят в низине собрать, то по черемшу раннюю пробежаться. Мало ли что?

Вот поповский остолоп, увидевши её на мостках, взял да и выкатал в весенней грязи стираные рубахи. В обиде она и замахнулась на него вальком – и тут же в воде оказалась. А Михей Пораев как раз шёл от заречной слободы с вожжою в руках и всё это видел. Так полоснул недоросля, ажно вожжа вокруг обвилась!

Но где пекло, там и чёрт...

На ту беду у батюшки Калистрата гостевал заезжий лекарь. Долго смотрел он слепыми глазами в расписанный Михеем остолопов зад, щупал красный рубец, а потом составил бумагу и велел Михею явиться в земскую управу.

Ушёл мужик и пропал с концом. Видно, у земских губошлёпов лысые головы без подарков не соображали. А где Михею Пораеву столько денег взять, чтобы им всем ума подсыпать? Вот они с самой весны уставились на мужика бесстыжими глазами и сидят. А время идёт!

Девчоночка Михеева замаялась с ребятишками. Да хозяйство ещё – тоже рук просит. Как-никак, семья жила не с чужого стола. Овечки, куры, лошадёнка... Они же землю гладить не станут. Соседи уж и так... И сена им тайком от отца Калистрата поставили, и подкармливали ребятишек, чем могли. Но ведь своих рук им не отдашь?

Особенно с маленькими была забота: пошлёт сестра братьев за реку, травы нарвать ягнятам, глядишь – заигрались. Не то про траву, про день забыли. Она их найдёт с горем пополам, исполосует заднушки хворостиною, сядет да ревёт вместе с ними. А вспомнит, как хорошо ей жилось с отцом-матерью, и вовсе ульёт слезами весь передник.

Когда Пораиха была жива, она дочку всё Малиновкой называла. За матерью и вся деревня повторяла то же самое. Девчоночка и правда была схожа с малиновкой: пела она при матери, не переставая. А то примется выдумывать разные небылицы. Деревенские ребята были готовы её слушать до зари. Вот и собирает всякое, и придумывает. Вроде чепуху говорит, а прислушаться – и большому трудно отойти.

После того, как мать померла, не столь часто, но всё же садилась Малиновка сказывать свои выдумки. Когда же Михея отослали в уезд, забыла девочонка сказки. Ко всем бедам, поповский недопарок вовсе распоясался – ещё черти в кулаки не боятся, а уж он у Пораева двора крапиву топчет. Грозится Малиновке, что Михея никогда домой не отпустят.

Одно спасение у сироты: собачонка во дворе. Такая умница! Понимает, что хозяйке частый гость не по нутру, всё норовит повиснуть на его суконных штанах. Скоро собачонке попович понравился так, что, на краю деревни завида, нахлёстом шла, будто волк на кабана.

– Это что же творится в твоём приходе? – стала долбить попадья отца Калистрата в куриную грудь. – До коих пор собаки будут командовать поповскими



сыновьями? Запомни у меня: всучу я тебе кочергу – будешь мне по деревне ходить, сына от собак отбивать.

Спорить с попадьёю отцу Калистрату грешно – стал Малиновку страшать:

– Посади собаку на цепь! Не то придётся из-за тебя Божью тварь погубить.

Что оставалось Малиновке делать – хоть из дома беги. Один раз подумалось так, другой раз помыслилось, и засобиралась девчоночка в город, батюшку выручать.

– А что? – одобрили соседи её намерение. – Пусть поглядят в управе, кого они осиротили. А о хозяйстве не думай – доглядим.

«Ну, а ежели счастье нам навстречу не пойдёт, – собирая утром братьев, думала Малиновка, – так, может, лёгкая смерть догонит».

Просёлочной дорогой девчоночка пойти побоялась – кабы поповский недоумок не догнал, пошла таёжной тропинкой.

Неуспанные ребяташки сперва квасились, а потом ничего – разгулялись, принялись по кустам бегать, дурачиться. Малиновка же, заботой измаянная, идёт и не видит ни унизанных росным бисером паучьих тенёт, ни всполохов ягод спелой рябины... Грустной думою затуманило ей глаза: что, как не найдёт она в городе отца? Тогда хоть выбирай в тайге сосёнку да карабкайся с верёвкой до первого сучка... А братья?!

В страхе глянула Малиновка на высокое дерево и замерла от удивления: на сосновой ближней веточке белый соболёк устроился, выстелил по ветке хвост и, головёнку свесивши, смотрит на ребят. Глазами с Малиновкой встретился, фыркнул озорно, хвост задрал и пошёл по стволу. С высокой маковки ещё раз фыркнул и пропал в густоте хвои.

У девчоночки вроде потеплее на душе стало, как-то надёжней. Заторопила она братьев. Но как ни подгоняла их Малиновка, а время настигло её в лесу. Братья приустать успели, закукились, запыхтели. И опять легла печаль на маленькое сердечко.

Шумнуть бы Малиновке на ребят – отпугнуть громким голосом заботу. Да только горя громким голосом не испугаешь.

Тогда Малиновка вспомнила, как, бывало, сказывала она небылицы деревенским мальцам, как самые



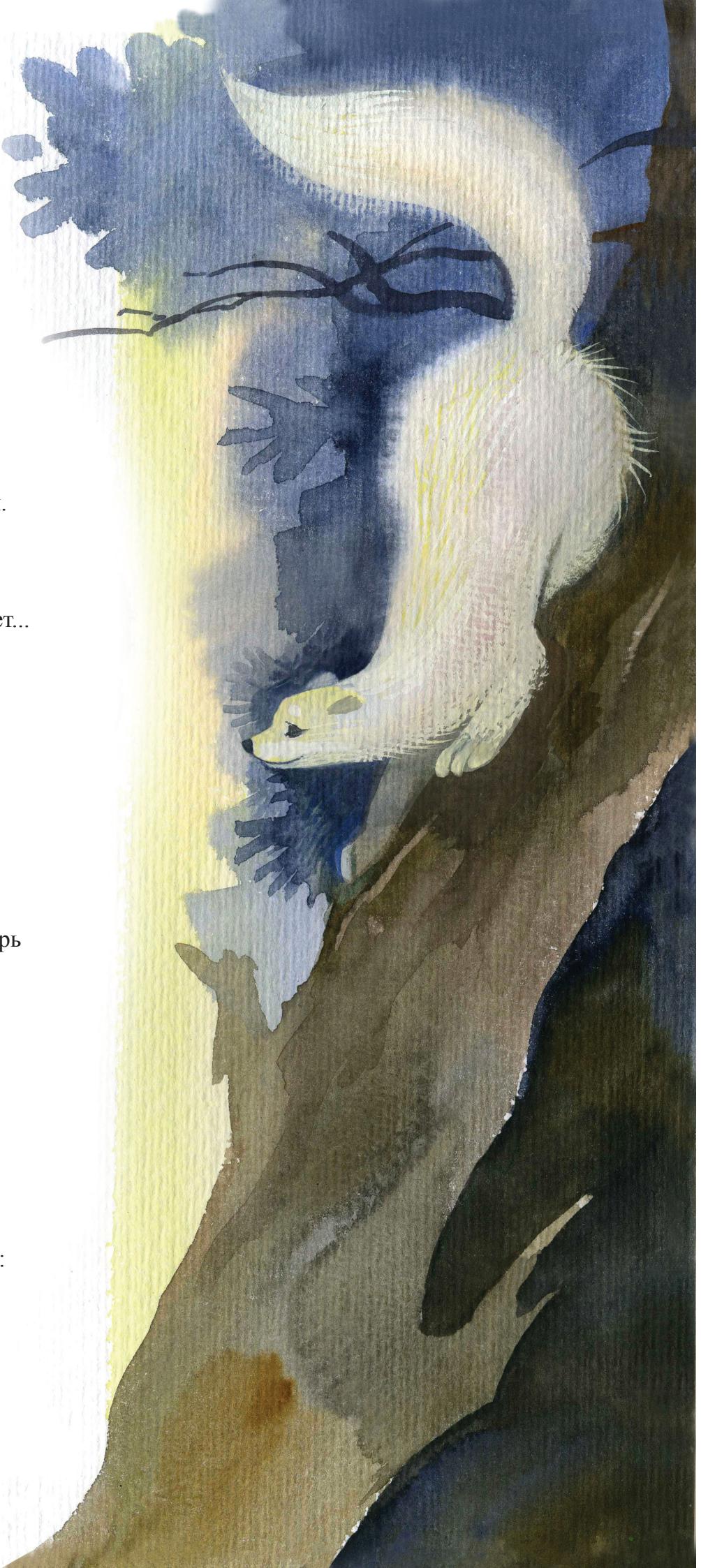


озорные из них становились
тихими и послушными.

Вот и запела она ласковым
голосом:

Всё идём-ка мы идём
по кусточекам-ельничку,
по тропинке мягонькой,
по дорожке заячьей.
А кто по лесу густому
ходит тихонько,
тот придёт-попадёт
к тётке Дрёмушке.
К тётке Дрёмушке
да ко Сну-Дядюшке.
Они ласковы, приветливы,
понятливы.
До ребяток-сироток
они добрые.
И накормят, и напоят,
в баньке выпарят.
И уложат, и споют
колыбельную:

Как во том во бору
стоит дом-изба.
Стоит дом-изба
всё дубовая.
Слюдяны оконца в ней
переливчаты,
на конёчке – петушок
Золото Перо!
Припеваючи живёт
в той избе медведь
со своею косолапой,
со медведицей.
С ними детушки –
косматы медвежатушки.
Серый волк при них
игривее козлёночка,
рысь глазастая
им сказки всё мурлыкает...
Забегает к ним порой
зверь невиданный!
Весь он изголуба-бел,
будто первый снег.
А во лбу его звезда
о семи лучах.
Он хитрее шута,
добрей глупого.
Соболёк-королёк
прозывается.
Что тот редкостный зверь
заговорённый.
Заговорённый он,
заколдованный!
Кому сам со звездою
покажется,
зной, заветное желанье
исполнится!
На всю долгую жизнь
будет счастлив тот
всё простым
человеческим счастием:
ни хозяин лесной
не сомнёт его,
не обидит вовек
ни судья, ни поп...





Заслушались братья Малиновку, идут, рты разинули. Вот уж и позднота стала цепляться им за пятки тенями густых ёлок. Девчонка шагает, собирает невесть что, а сама прикидывает: где бы ей ребятишек на ночь поудобнее в лесу пристроить?

Углядела сваленный годами старый кедр. Разлапистое корневище его шатром нависло над просторной ямой.

Оставалось только поверх корней накидать лапника да устелить дно ямы мягкою травой – и заходи живи хоть до самой зимы. Вот Малиновка с ребятишками и давай на скорую руку ночлег оборудовать.

Улеглись мальцы, как дома. Прикрыла их Малиновка своим головным платком и рядом села придумывать дальше ласковые небылицы. Скоро занялись курносые дремотой, губёнки распустили. Однако не умолкает Малиновка. Уж и не братьев она заговаривает – судьбу свою горькую заклинает, чтобы не была такой скupoю на её простое бедняцкое счастье. А ночь выдалась непомерно тёплая да лунная. В Сибири часто к Стратилатову дню, а то и от первого Спаса кумушка-непогодушка начинает крутой зиме квашню заваривать: то дождичком польёт, то струганым ледком посыплет. Да так ли закрутит весёлкою северного ветра, что и прятаться не найдёшь куда.

А нынче какая благодать держится!

Только рябина в лесу да густые тенёты не дают забыть о скорой осени. Но не хочется думать в лунную погожую ночь, что на носу Федорин день, когда уйдёт всякое лето и нагрянут долгие нудные дожди. Разведут они по дорогам непролазную грязищу. В тайге толстозадый топтыгин не вынесет Федориных проказ и полезет в тёплую берлогу, отведав прежде весёлых ягод крушины. Сползутся под трухлявые пни, переплетутся клубками полусонные змеи, и в ледяной тишине заснут белые мухи. Насядутся белые мухи стаями на могучие плечи сосен, сровняют в лесу пни да муравейники, и до самой весны только ветер залётный будет петь заснеженной тайге свою голодную волчью песню.

Сидит Малиновка под кедровым корневищем, слушает, как посвистывают носами братья, и покажись ей, что в лесу посветлело. Перед нею на таёжной еланке былинку всякую видать, даже ту, которую днём-то пройдёшь не заметишь.

И вот дрогнула на молодой ёлке ветка, будто её кто озорной сильно пригнул да разом и выпустил из пальцев. Видит Малиновка: с ёлочной хвои на густую траву скатился светлым клубочком зверёк небольшенький и кольцами-петлями стал набегать поближе к валежному кедру. Посреди еланки остановился, шустрый, столбиком сел на хвост и огляделся – важный, что барин перед народом. Тут он углядел под корневищем девчоночку, мотнулся на близкий смородинный куст, закачался на тонкой веточке, лётом перемахнул на совсем близкий от Малиновки подъёлок, там прыгнул на сосну и выюном пошёл к самой её маковице.

«Ой! – узнала Малиновка. – Соболёк давешний».

– Ишь, белый! – радостно шумнула она наверх. – Спускайся сюда.

В ответ у неё в ногах хлопнулась сосновая шишка и отскочила в сторону. Другая ударила о корневище и упала девчоночке прямо в подол.

– Озоруй мне! – засмеялась Малиновка и погрозила собольку пальцем, да подумала: «Должно, рядышком где-то гнездо, вот и прогоняет».

Третья шишка угодила Малиновке прямо в темечко, хотела девчоночка вернуть озорнику его подарок, да не успела: вот уж соболёк сидит на нижней ветке сосны и посверкивает глазами на Малиновку. А сам то голову наклонит, то вскинет, то спину выгнет колесом, то хвост дудкою поставит... Да цыркает на Малиновку, да потякивает, будто разговаривает и сердится на её непонятливость. Ишь ты!

Потом вовсе на землю соскочил и давай перед Малиновкой кренделя выписывать, будто озорной парень на гулянке.

Хохочет Малиновка, а соболёк выкамаривает... Сперва девчоночка в ладони хлопала, а потом сама пошла ногами перебирать...

Соболёк всё Малиновке под руку подворачивается, только тронуть себя не даёт – отскакивает. А Малиновка за ним тянется – погладить охота.

Когда набегалась Малиновка, запыхалась, передохнуть остановилась, увидала вдруг, что шалаша-то рядом нету! Кругом такая глухота да рям, такой подлесок, что между кустов собаке не проскочить! Только одинёшенька сосна высится перед девчоночкой. И самого соболька нигде не видно.

Большого страха Малиновка не почуяла: не столь долго она с озорником играла, чтобышибко далеко от братьев убежать. Да и выросла она в тайге. Знает, что об эту пору ни один зверь человека не тронет. А вот на соболька маленько осерчала. Но, заметивши в сосне дупло, догадалась:

– А вот ты где! Счас я тебя за белый хвост вытяну! Покажешь мне свою звёздочку о семи лучах...

И тут же подумала: «Опять ерунду горожу».

Сунула девчоночка в дупло палку – нет никого! Полезла рукой – пусто! Нет соболька! Только ореховая мелкота раскатилась между пальцами тяжёлыми камушками. Малиновка щепотью захватила тех странных орешков и на ладонь себе рассыпала.

Ма-мынь-ка! Видит Малиновка при луне: лежат у неё на ладони крупные золотые бусины...





— Лишеньки мне! — шепчет Малиновка. — Где ж это видано, чтобы золото в дупле самородками рождалось?! Должно, чей-то грех тут упрятан да ко мне в руки просится. Господи! Неуж своего горя у меня мало?

Ссыпала Малиновка золотые бусины обратно и заторопилась прочь.

Но, побегавши по зарослям, вдруг опять оказалась на том же самом месте.

«Ну те! — подивилась со страхом девчоночка. — Как такое вышло, что закрутилась я?! Надобно луны держаться...»

И снова принялась кусты раздвигать.

Что ты скажешь! Опять перед нею сосна!

Видать, другая дорога той ночью была ей заказана, поскольку Малиновка и в третий раз оказалась на нечистом месте.

Села девчоночка поодаль от сосны на трухлявую коряжину, уронила руки и собралась помирать. Нашла на неё такая отупень, что ничегошеньки-то ей не надо, никого-то ей не жалко — всё у неё хорошо, и виноватых нет...

Уткнулась Малиновка головою в худые колени свои, покачалась на коряже и задремала.

В дремоте чует: кто-то её по голове погладил! Вскинула она испуганно глаза: «Ой!». Отец перед нею стоит и улыбается.

— Батюшка! Родимый ты мой! — заревела в голос Малиновка да, повиснув на отцовской шее, хлюпает, спрашивает: — Откуда ты взялся?

— С того света, — смеётся Михей. — Не веришь! Вот те крест! А ты пошто в сторонке от шалаша дремлешь? Вона какой ловкий наладила! Спала бы себе вместе с ребятами.

Заикнулась было Малиновка о собольке сказать, да увидела, что и впрямь шалаш рядом и братья в нём посыпёхивают лежат. Должно быть, ни разочку не просыпались.

А Михей удивляется:

— Так вы что тут одни?! Без народу?! Орехи, что ли, втроём наладились бить?

— Не-ет, — замялась девчоночка, чтобы не огорчить родимого скорой заботой. — Место пришли смотреть.

— А что! — одобрил Михей, разглядывая утренние уже кедры. — Ты гляди, какое место! Шишек-то сколько! Чтой-то я раньше не знал этого кедра! Неделей надобно сюда вернуться.

— Тебя как отпустили-то? — в нетерпении теребит Малиновка отца.

— Чудом! — опять смеётся Михей. — Истинно чудом. Я и сам до сих пор не верю! Давай-ка сядем потолкуем, покуда ребята спят.

Устроились они рядом у шалаша, и обсказал Михей дочери о странном своём избавлении.

— Меня, — говорит, — до суда в пересыльной держали. Я у них там за подметалу состоял. Днём суёта этапная мешала работе, а ночами самое время убирать...



Вот вышел, значит, Михей с вечера к тюремным решётчатым воротам, начал метлою сор подхватывать. А на часах у ворот стоит такой же мужик, как он сам, только одет в казённое. Хороший мужик – не понукает...

Откуда ни возьмись, бежит тюремный смотритель, чтобы скорее ворота отворяли. Дескать, гости едут, встречать тороплюсь. Глянул Михей на дорогу – вот уж он, возок расписной, к воротам подкатывает. Часовой Михею маячит: дескать, отойди подальше.

Сыздаля-то не было у Михея возможности разобрать, о чём толковал с перепуганным смотрителем хозяин богатого возка. Только видно было, как удалой возница всё подмаргивал ему, поигрывал тонким прутиком да посверкивал с белой шапки дорогою звёздочкою.

Так хотелось Михею крикнуть тому вознице, что не бандит он, не убийца какой! Нечего смеяться над чужим горем. А смотритель между тем исприседался перед гостем, исприглашался пожаловать к нему в дом. Но в ответ только хлопнула сердито дверца возка, и возница крутанул над смотрителевой головою тонким прутиком.

С великой досады смотритель влетел в ворота, как сатана в пекло!

Михею ажно почудилось, что тюремный двор сажей подёрнулся, а от казённика искры летят.

Попятился Михей со своею метлой подальше от греха, тут его смотритель и поймал, как волк глупого зайца.

– Хто? – кричит да тычет Михею пальцем прямо в лицо. – Этапный?!

– Не-е, – отвечает Михей, – тутошний я, деревенский. Третий месяц суда жду.

– Какое за тобой дело? – опять орёт.

– Попёнка вожжою огrel...

– Пошёл вон! – визжит смотритель. – Что стоишь, вылупился...

А Михей столбом стоит, ничегошеньки понять не может – хоть убей!

Тогда караульный метлу из его рук выхватил, да метлою, да метлою его по спине...

– Не поймёшь, дурак? Пошёл вон, говорят! – и пинка добавил.

А уж за воротами шепчет по-доброму:

– Слыхал?! Новый губернатор к нам прибывает – смотреть будет, как да за что православных по тюремам томят. Ты ступай себе, иди спокойно...

Поклонился Михей доброму караульщику земным поклоном и прямо домой!

– Ночь прошагал – ничо, – объясняет Малиновке отец. – А утром чую – устал. Передохнуть не мешало бы. Тут и шалаш увидел. Сунулся в него – вот те раз! Мои напёрстки лежат, ещё и платком твоим прикрыты. И ты, гляжу, близко сидишь, дремлешь. Ну скажи ты мне: это ли не чудо чудное, диво дивное? И от тюрьмы даром отдался, и с вами в глухом лесу не разминулся. Бывает же такое на свете!

У Малиновки от отцовского рассказа сердце затрепетало, однако заговорить о собольке не настырилась.

«Вот ещё, — думает, — полезу к батюшке в радость со своими придумками. А всё-таки странно, что у кучера на белой шапке звезда сияла!»

Вовсе по свету повёл Михей Пораев огольцов своих с дочкою обратно в деревню. На подходе к околице Малиновка вспомнила:

— Платок в шалаше оставила!

— Да Бог с ним, с платком, — утешил дочку Михей. — Вернёмся за орехами — подберём. Кому он в лесу нужен?

Стали Пораевы в деревню входить — народ увидел.

— Ты гляди, что на свете делается! — кричит одна баба другой. — Отпустили Михея-то!

— И то!

— Слава те, Господи!

— Уж не по этой ли нужде нарочный из уезду вечером до батюшки Калистрата приезжал?

— А холера его знает.

— А пошто бы матушке провожать-то его со слезами?

— А холера её знает.

— И обалдуй ихний что-то не показывается.

— Да чёрт с ним!

— Ой, что будет, что будет...

— Ничо не будет. Приструнят Калистрата. Не одного ить он Михея обижал.

— Дай-то Бог...

Когда Пораевы, перекланявшись со всею деревней, отворили запертую избу, Малиновка первой ступила на порог. Ступить-то она ступила, да заробела у косяка: так чисто в избе, так светло, будто три солнца в окна глядят. Когда же решилась дальше пройти, увидела: платок, ею забытый утром в лесу, лежит разостлан по столу, а на самой его серёдке горит яркой звёздочкой дорогая брошь.





КИРЬЯНОВА ВОДА



ак ли, не так ли дело-то было, пойди теперь у ветра спроси. А и не так, да так...

Подрались как-то на крутом яру Фимка с Лёнькою. Чего подрались, сами не знают. Фимка от Лёньки в кусты пятится, одною рукой под носом мажет, другою грозится:

– Налезешь, ты налезешь... Я к тебе подкрадусь... спихну в омут... там быстро Савватей-барин зачикотит.

– Ой, пупырик! – жмётся со смеху Лёнька. – Пущай Савватей твою бабку чикотит. Брешет она про барина, чтобы пацаны в омут не сигали.

Фимка чуть было не задохся от обиды:

– Сам брешешь! Повылазиут глаза мои, когда не видела она того Савватея. Голый... Зенки, во! Синий! И орёт кошкою...

– Когда ж она углядела того Савватея?

– В туё ж субботу. До бани ещё...

– В сутёмы?! – пугается Лёнька. Фимка хитрить совсем не умеет и потому верит Лёньке.

– Ну. А то...

— Вот те и «ну», — фыркает Лёнька. — То ж мы с Петькой Рэпанным теми сутёмы на омуте поспорили: кто на Савватея страшнейше будет пошибать. Нукало...

— Бри! — только не заревел Фимка. — Рэпанному дед хворостиной в субботу лупцовку давал за Перчиху. Перчиха ещё грозилась через ограду: «Если, — шумела, — твоего оглодыша ещё угораздит на моей избе чертомыльню разводить, я больше здря орать не буду. Я до осени подожду...». И подождёт... Кислярихе ж она тою осенью подсвинков в огород напустила? И Рэпанному напустит.

Лёньке стало невесело, но он всё-таки петушился:

— Ой, напустила. Побегу вытурять. Да мы ж ей с Петькою, если надо, ещё и не такое сработаем. Она ж со страху померёт... А то понапридумывала — чужих голубей приманивать. Пущай своих разводит да и лопает. Мы ей...

Лёнька икнул, будто его саданули по затылку, глаза ошалели, и гаркнул он полной глоткой:

— Лыгай, Фимка...

Но блажить-то поздно было. Фимкино ухо уже потонуло в цепких пальцах тётки Перчихи.

— От они, злодеятки, иде стакнулись. О-ой! — подивилась она на Фимку. — И ты, хорёк сопливый, в ихню компанию затесался? Ишшо один голубячий заступник выискался. Я тя щас вот перцем-то натру.

На Лёнькиных глазах Фимке ж нельзя не хороориться.



– Чо ухо-то крутишь?! Сама глухая, что пим. Крутишь кому попадя. Пусти!

– Я тя пущу, я пущу... Я тя щас так пущу, что бабка с маткою цельную неделю тебя собирать будут.

Фимка своё гнёт:

– А неправда? Хто чужих голубей лопает?

Перчиха и глазами заморгала:

– Ой, небитый! Давно-ка ты, паря, небитый. Айда к матери, – она потянула Фимку из кустов на тропку, – щас она твою правду оголит да изрисует. Она её тебе, как самовар, начистит.

А и то... Про Лёньку в деревне люди и говорить притомились. Отец его плотогоном был. После смерти отца мать Лёнькина заговариваться стала – не до сына... Ой, хороший у Лёньки ж был отец... А Лёнька – враг! Но и про него находились добрые души. Нет-нет, да и скажет кто:

– Попомните меня: израстёт малец. Ха-ароший из него человек получится.

Забытый Фимкою и Перчихой, Лёнька по-за придорожными кусточками и сухостоем поспешал вровень с ними. Он поглядывал между веток на Перчиху, крался по разнотравью, забегал вперёд, а то отставал, прикидывая чего-то... Глаза его ждали и веселились... Нечёсаный вихор колыхался, как петушиный гребень.

Когда же тропка пошла спускаться с лесистого яра к ручью, Лёнька бесом вымахнул вперёд и сунулся головою в ноги тётке Перчихе. Перчиха



молча перевалилась через Лёньку, потом, хватая воздух руками, через свою голову и с криком покатилась в ручей.

Фимка сперва ничего не мог понять. Он всё ещё щупал горячее ухо, таращил на Лёньку и без того здоровущие глаза. Но, почувствав свободу, крутанулся на пятках и дёрнулся галопом в лес, подальше от нежданного спасителя.

А Лёнька-то и не думал его догонять. Он отряхнул штаны, сунул пальцы в рот и лихо свистнул. Телок, что пил из ручья, поставил свечкою хвост, брыкнул и поскакал на Перчиху. В нём, видать, заговорила телячья прыть.

Скоро Фимкина радость сменилась нудною тревогой. Теперь столько Перчиха насоветует Фимкиной матери, что мальцу легче в омут нырнуть, чем домой воротиться.

И ведь в том самая досада, что Фимка с Лёнькой недруги давние, ещё с прошлого лета, когда Лёнька утопил в омуте Фимкины штаны. Поскольку же, кроме штанов, летом Фимка носил только цыпки да веснушки, так и принудило его Лёнькино озорство с полудня до заката просидеть нагишом в сырых тальниках. Дождаться ж у омута полной темноты и большой не вытерпел бы. Так не успел тогда Фимка в закатных лучах вынырнуть из тальников, как сквозной свист прямо калёною стрелою продел его с головы до пяток. Лёнькину потеху подхватили другие озорники, да так дружно, что в деревне заголосили спросоныя заполошные петухи.

Метнулся тогда Фимка блёклою звёздочкой через лощину и погас в самой что ни на есть густой крапиве. Скрыться тогда больше некуда было. И теперь кожа у Фимки вздувается волдырями, только вспомнит он про ту крапиву. Да и материны примочки оказались тогда не слаше. Но самое обидное, что Лёнька, заливаясь хохотом, орал Фимке вдогонку:

— Эй, пупырик! Вернись! Пуп потерял.

Этого-то «пупырика» и не мог Фимка Лёньке простить. Сонными ночами, что есть мочи, лупил Фимка Лёньку нещадно. А вот при свете получалось обратное. Однако Фимка упорствовал и не думал покориться Лёньке. За эту-то неугомонность втайне Лёнька сильно уважал Фимку.

Ручей, где искупалась Перчиха, бежал от реки, делал разворот и сливался в омут. На сливе воды были видны здоровенные чёрные брёвна. Кой-где торчали в тех брёвнах поеденные ржой огромные гвозди.

На этом месте в забытые времена красовалась мельница Савватея-барина. Тут, говорят, и спихнула его нечистая сила в подколёсную глубину.

Савватеево хозяйство без строгого догляда оскудело, мельник запился, мельница подгнила и рухнула. А те брёвна, что оставались всё время под водою, сохранили свою крепость и по сей день.

Низкий левый берег зарос. Тут летами царствовали деревенские свиньи. Сам же омут был обжит птицею всякою. Гогот и кряканье в летнем мареве стояли невыносимым содомом.

Вплотную к воде можно было подступиться разве что со стороны брёвен. Но именно тут, говорили, и сидит Савватей-барин.

И хотя самолично никому не выпадало столкнуться с утопленником, омута боялись, и, пожалуй, не меньше, чем барского дома на яру. Даже белым днём ходить сюда не очень торопились.

Мальцы другой раз по дурости и ныряли в омут, но заглянуть в самую подколёсную глубину никому не довелось. Тому же, кто пытался достать дно, не хватало дыхания.

На самом же гребне, на лысой, как голова новобранца, маковке левого яра высыпался двумя этажами старый барский дом.

Сколько разочек пытались сельчане приживить к деревне этот дом. Но затея так никому и не удалась.

А ссылались на то, что живёт в старом доме какой-то неясный голос.

Нет-нет и даст о себе знать. Кого-то кличет, кого-то зовёт тот голос, всё плачет, стонет...

Как-то случился в доме пожар, но сгорели только половицы в одной из кладовых хозяйственной пристройки. Дальше огонь не пошёл, сам погас. И пополз слушок, что-де видели, как Савватей выходил из омута да погасил в доме огонь. Тогда-то люди и заколотили в старом доме двери и окна широкими горбылями.

Фимка устроился на самой крутизне, свесил с яра ноги и между тревогою стал подумывать о том, что пора, быть может, простить Лёньке летошние штаны...

Одно из брёвен запруды дулом громадной пушки торчало над водой. Юркие утятка крутились тут же, над самой глубиной омута. Они торили по воде рябые дорожки, ныряли во встречную струю неугомонного ручья, потешно дёргали тонкими ножками.

Самый проворный из этой пушистой оравы подкатил к поднятому краю бревна, скользя, влез, остановился у самого среза и глянул одним глазом вниз. Ясно, примеривался: далеко ли вода. Решился, колыхнулся на ребре среза, прираспустил пуховые крыльышки и свалился в глубину.

Фимка мигом приметил потешного ныряльщика и стал следить за шустрым затейником. Вынырнул птенец из воды куда как дальше прочих утят. Это ему, видно, понравилось, потому что он громко крякнул, тряхнул грудкой и весело развернулся к бревну. Фимка напрочь забыл недавние горечи свои и всею душой заболел птичьей забавой.

А вокруг вечерело.

Уже в который раз ныряльщик оказался на бревне. Закатный луч солнца скользнул по серой его спине, вспыхнул капельками воды на трепетных крыльышках утальца и... Фимке привиделось, что не крылья встрепыхнулись над утёнком, а шитый золотом камзол взвихрился полами и исчез вместе с хозяином в чёрной глубине омута.

Фимка задохнулся. Он вытянулся, как гусёнок, в жутком ожидании чего-то. Но птенец вынырнул птенцом, и Фимкина пустая надейка на то, чего и быть-то не могло, сменилась прежней заботой: надо было идти домой.

А шебутной ныряльщик всё продолжал свою затею.

Вот он умело влез на бревно, лихо дошлёпал до края и... хитро оглянулся на парнишку. Фимка замер. Утёнок поднёс к широкому клюву перепончатую

лапку, будто призывал мальца не шуметь, и хотя расписного камзола на птенце Фимка больше не увидел, однако ожидание чего-то ещё более непонятного бросило мальчишку в трепет...

— Кири-кири-кири! — донеслось из-за поворота дороги. То Перчиха шла на омут собирать свою живность. Фимка еле удержался на крутизне. Вся его фантазия разом выпорхнула из головы, и на четвереньках он отполз подальше от берега. Сокрившись в траве, малец видел, как Перчиха собирает уток.

Когда крикливыи отряд пропал за поворотом, Фимка понял, что день кончился. Тальники у запруды спокойно клонили свои тёмные ветки к омутовой тихой воде. Даже свиньи, которые только что охали в топи низкого берега, успели когда-то исчезнуть.

В смурной тишине затухающий голос тётки Перчихи показался мальцу таким родным, что Фимка бросился домой, боясь даже обернуться на омут.

Но не успел он ещё и на дорогу-то выскочить, как долгий, жалобный крик возник над лысым яром, от старого барского дома скатился к тальникам:

— Кирь-рька-а, Кирь-рька-а... — звал кого-то тоскливыи голос. — Кир-р-рь...

У Ефимки похолодело в животе.

Минуя дорогу, прямиком, лопухами и шиповниками ломанулся Фимка к своему огороду. Весь облепленный репьём, в ссадинах и обдёргах, перевалился через огородный плетешок и с лёту вкатил в распахнутые тёплые руки своей бабушки.

— От оглашенный! — прижала она к себе насмерть перепуганного внука. — Да где ж ты опять обремкался-то весь? От непутный! От оглашенный! Носит тебя окаянная... Чего ж трясёт-то тебя всего, как маслобойку?

На каждый свой вопрос, на каждое восклицание бабка сокрушённо качала седою головой.

— Что ж ты это с тёtkою Перчихою давеча наработал? Она ж меня этак-то когда-никогда вместе с избою... и с огородом заглотнёт... Ты бы уж меня-то бы, старую, пожалел. Не связывался бы ты с Лёнькой, што ли...

Фимка хотел было улизнуть от ответа. Он вывернулся из-под старой руки, но оробел перед темнотою сеней и, виноватый, приткнулся лбом к бабушкиной груди.

— Пойдём-ка, милай, — сразу обмякла старая, — пойдём, зёрнушко ты моё. Пойдём, я тебя укладу, покуда матери нет дома.

В избе было тепло и надёжно. Фимка одним духом опорожнил кружку молока, сцепал со стола пирог покрупней и полез на печку...





Старая ж приняла с полки куделью, подсела прядь поближе к оконному свету.

На дворе теплился долгий летний вечер. И в избе слышно было, как обалделая от цветения трав на все лады сходит с ума луговая саранча.

Привычно, почти на ощупь тянули старые пальцы в полутьме долгую нитку. Не мешая покою, постукивало о застеленные домоткаными половиками половицы тонкое веретено. По обычью, по вековой привычке не могла старая не петь за такою работою:

Среди долины ровные,
На гладкой высоте...

Фимка перестал жевать, зажмурился... Хотел увидеть могучую красоту никогда не виденного дуба, но углядел он тёмный омут, барский дом на лысом яру... дрогнул от пережитого страха, позвал:

– Баушка...

– Аиньки, – продолжая тянуть нитку, отозвалась старая. – Чего тебе, внучек?

– Я ноне слыхал...

– Ну?

– Ноне ктой-то орал в Савватеевом доме...

– Ну! – остановила старая веретено.

– Глухо так... Будто кого за шею давили...

– Поди-ко ты! Чо орал-то? Звал кого али просто?..

– Звал, – мотнул высунутой из-за занавески головою Фимка, – вот эдак-то.

Парнишка потянул шею с печи и надсадно взвыл через стиснутые зубы:

– Кир-р-рь-рь-ка-а...

Бабушка перекрестилась, помянула Господа, поднялась и, глядя внука по голове, сказала:



– Поди-ко всё Лёнька дурака валяет?

– Не-а, – уверил её Фимка. – Я Лёньку в тальниках тогда видел... Я чуть в омут со страху не скатился.

– Ну ладно, ладно те... Спи-тко вот лучше. Не то мать с поля воротится, нахлопает по заднушке-то...

Задёрнувши занавеску, вернулась старая на место, но прясть не поспешила.

А за окошком вечер сгустился, и казалось, весь дневной свет собрался капельками на тёмном небе.

– Чой-то матери твоей долго нетути, – сказала старая. – Видно, в поле сговорились остаться... Нет. Люди здря болтать не станут. Ишь ведь как... Не каждому тот голос слышать... Ой, давно его не было...

Фимка не то жевать, дышать бросил. Затих на печи, что скворушка...

Только рот разинутым оставил...

– В мою молодость всякое говорили об том голосе. Одно, что Савватей-барин свою работника кличет, другое – наоборот: работник тот об себе людям знак подаёт: вот, мол, я. Сыщите-ка меня, кто смел да умён, а я вам за смелость вашу открою великую тайну. А ещё сказывали... Ну так я тебе всё порядком расскажу, покуда мать дожидаемся...

Встренулись они, Савватей-то с Кирьяном, ещё, знамо, до того, как Савватею ж барином сделаться. Он, Савватей, виши, смолоду больно страдал о богатом житье. Прямо помогнуть бы царю со своего места слезть, да самому сесть. Ему и во сне хоромы да колокольные звонь виделись. Только боязнь каторги и держала его постремки. Взял тогда Савватей и подался в нашу тайгу золото искать. Одному-то по здешней тайге блукать – скоро озвеешься. Так он уlestил послами парнишонку с чужого двора; долго ли недоростыши, вашему брату, голову задурить? Сколь тогда Кирьяну тому было? Небольшенький. Может, чуток тебя поболе.

Уманил Савватей Кирьяна с родного двора тайком, не спросясь отца-матери. В тайге-то он его и окрестил Кирькою.

Кирька да Кирька.

Звонче по тайге кличется.

Эвон куда убредали в своё время золотишки-то! Увёл и Савватей Кирьяна к чёрту на кулички, а сам возьми да и захворай в лесу. Свалила Савватея с ног таёжная немочь. Всё! Падает, глаза закатывает... Кирьян переполошился: куда ему кинуться? А Савватея не бросает, думает к реке выволочь – не так страшно у реки-то. А тут попадись в тайге яма. Должно быть, земля в этом месте заболела тожить да и провалилась аршин этак на десять, а и того глубже.

Доволок Кирьян Савватея до самой ямы и всё... Хоть рядом ложись да помирай. Нисколько силы у Кирьяна не осталось. А гляди, уж и ночь в затылок дышит. Пора бы им и костерок устраивать.

Набрал Кирьян хворосту, наладил костёр... Воды опять нету! Покуда за светло, надо бы воду найти. А далеко от больного отойти боится.





Покрутился парнишка да и думает: «Дай-ка погляжу в ямине. Может, где дождичек скопился? А то родничок найду...»

Верёвка у них с собою крепкая была, длинная...

Вот Кирьян одним концом ту верёвку за сосну захлестнул, на втором ведро в яму опустил и сам туда же...

Спустился Кирьян на самое дно таёжной ямы и удивился: будто бы знал, где да что на земле делается, – вот он, ключикто! Под самою стенкою прыгает-трепещет, ажно светится весь навстречу Кирьяну! Будто соскучился и в руки просится. Место себе чистое размыл, а бежать никуда не бежит, прямо тут же под камень прячется. Вода в ключике ясна, светла и всё вроде то голубым, то розовым отдаёт, то желтизною пронзит её и... тёплая. Кирьян больше доверял холодной воде. Да уж какая есть. Наплескал малец горстями полнёхонько ведро и вылез, и ведро из ямы вытянул.

А Савватей наверху уже, гляди, последним паром исходит – синеть начал. Кирьян давай его тою водой отпаивать.

Вроде бы мал-мала очухался Савватей, потеплел.

Кирьян ухо приложил к Савватеевой груди – сердце послушать, да и, не помня себя, уснул. Притомился до упаду.

Утром чует: Савватей сам к ведру тянетя. Раз-другой глотнул да и понужнул лешего крепким словом: не понравилась, вишь ты, Савватею вода – горькая.

– Гдей ты, – спрашивает пацанишку, – воды-то поганой начерпал, голимая полынь!

– Из родника набрал...

И никто не знал, как у них дальше получилось, а только понял Савватей, какая такая вода в яме таёжной под каменною стеной прыгает. Спросишь, какая? Живая!

Вот какая! Савватей тот на самом себе испытал её силу. А Кирьяну виду не показал, что ему понятно. Зачем ему теперь Кирьян? Только лишний пайщик. Вот и стал Савватей голову кидать: как ему сделать так, чтобы за одним за собою оставить это золотое место. Ни к руке ему Кирьян возле того ключика. Хорош, говорят, сокол в полёте, а чёрт – в болоте. А малому где ж было понять, какое богатство открыл он в земле для Савватея тем живым ключиком...

Савватей в туё пору, знать, не вовсе ещё душу-то свою чёрту продал. Вроде бы и жалко... совестно ли... так вот взять и положить мальчишку в тайге своюю рукой. Так он чо придумал? Он с Кирьяном ушёл тайгою подальше от того места, будто золото опять искать принялись, закружил мальчишонку по буреломам и бросил его в тайге, и огонь, и провиянт... всё как есть забрал и ушёл к Кирьяновой воде.

Ить вот не мог подумать Савватей, что Кирьяну повезёт. Уж сколько он наорался, уж сколько набегался... И в болоте-то он гнилом тонул, и сонный с кедра на землю падал, и от медведя вплавь по реке уходил... Медведь-то его к реке и выгнал... Напоследок оглох от голоду: за рекою собаки лают, а ему не слышно. Спасибо ещё, одна собака шельмовая блукала в лесу без хозяина и наскоцила в кустах на Кирьяна. И ведь какая оказалась умница: прямо волоком дотянула мальчионку до берега, а там давай на всю округу выть. И подняла народ!..

Выходили Кирьяна добрые люди, домой, к отцу-матери, отпустили...

А Савватей? Тот быстро в гору пошёл. Тот дело знал! Скоро у него и деньги появились. А деньга деньгу любит. Поплыли, посыпались... В работники нанял крепких мужичков. Они ему близкую речку плотиною загородили и пустили лощиною между наших двух яров прямо в ту лесную яму, где теперь омут. Когда вода в яме ровно с краями набралась, река, по-под правым яром, низинкою пошла, обогнула левый крутояр и с другой его стороны влилась в своё же русло. Вроде как водою петлёю обхлестнула лысый яр. Вот на этом-то яру и поставил себе Савватей крепкий дом. На сливе же реки в омут соорудил мельницу.

– А ключик живой?

– Это когда работники Савватеевы реку задумали повернуть, так тот ключикшибко хитро куда-то в сторону отвели. Ой умный Савватей тот был. Страшным умом был умный! Виши, как получилось у него с теми мужичками. Работу они ему сладили добром, как в руку положили. И заработанное честно от хозяина получили. Всё чин чинарём. Савватей им праздник закатил. Всего хватило! Так ведь, как кто-то сказал: уснул пьяный, а проснулся – мёртвый. Теперь спроси у тайги, что она в ту ночь у омута видела? Вот он каким, Савватей-барин, был.

А Кирьян когда-никогда про Савватея услыхал. Да и как было про него не прослушать, когда тот уж чуть ли не в святыи вписан был народом за ту, за живую, воду.

Ведь он что людям говорил? Что сам и настаивает водицу на таёжных травах. У него даже в кладовухе одной сорокаведёрные бочки стояли – вода в них кисла.



Так вот таким ли, скажи, барином заделался тот Савватей – ой, да ну! Уж и в простой одёжке ему холодно. Уж ему брезготно, уж ему ломотно... Камзол, шитый золотом, подавай! Ходит перед народом, батюшки! Повернётся, оглянется – матушки! Себя не видит, не то что людей.

Вот тогда-то Савватей и встретился с Кирьяном. И выпало им сойтись, да в одиночестве, да у того самого места, где в свою пору Савватей помирать собирался. Видать, Кирьян нарочно там его поджидал, чтобы, может, о прошлом напомнить да совесть Савватееву пробудить. Ой, Господи! Была бы у волка совесть, он хоть бы морду отворачивал.

Ну и сошлись. Кирьяну узнать нужно, где Савватей спрятал живую воду, чтобы народу показать. А Савватею ж это чистый разор. Ему-то какая охота Кирьяну уступать? Стал он бывшему своему работничку золотые горы сулить. Камзол скинул – на, мол, носи!

Только о богатстве-то разные понятия в них жили: не проняла Кирьяна Савватеева жадность.

Тут-то они и схлестнулись драться.

Бывает так, что хочет человек прыгнуть да упадёт. Так и Савватей. Торопился Кирьяна в омут спихнуть, да сам и пошёл мерить подколёсную глубину.

А вот тут-то самая загвоздка получается. Уж кто там подглядел за всем этим делом, а только говорили, не каялись: когда стоял Кирьян в полной своей растерянности над омутом, подкралась к нему со спины Савватеева мать и накинула на плечи молодцу сыновий камзол, что на траве валялся.

Будто бы придавило Кирьяна к земле тем камзолом. Разом помельчал он, слился в комочек и сам пошёл в омутовую воду. И поплыл Кирьян по воде серым утёном. И плавать ему, говорили, до тех пор, покуда не окунётся он в тёплую струю живого ключика. Да только вот беда: стоит Кирьяну отыскать заветное место, как тут же, невесть откуда, появляется Савватеева мать, и ключик пропадает бесследно. А вот кому бы кричать на лысом яру, того никто не сказывал. Да и голос тот не сильно часто даёт о себе знать. Последний раз, не помню, кто и говорил об этом.

Бабушка вздохнула, посидела молча.

Добавила про себя:

– А может, то живой ключик голос подаёт да всё к людям просится?

Снилось Фимке, что сидит он на крутом берегу омута. Вода в омуте чёрная и берега чёрные. И лес на той стороне реки, и небо... Всё чёрное. Но всё, до точки, различимо. Хорошо видно, как далеко внизу, у самого края воды, снуют чёрные водомерки, и каждая травинка под яром отливает своею особой чернотой. А тихо-то кругом! Так тихо, что слыхать, как горят в небе звёзды и где-то далеко-далеко, может, по ту сторону, что-то бухает в землю, бухает...

То буханье всё нарастает, нарастает и вдруг обрывается утиным криком. Фимка видит на чёрном бревне омута огромного, с корову, птенца. Он тянет к Фимкину яру долгую, колючую шею, хлопает полами расписанного камзола и вскрикивает так, что у Фимки в ушах чешется:

– Кир-р-рька, Кир-р-рь...

Фимка валится с яра в чёрную бездну, летит, бьётся о выступы крутизны, сшибает в воду камни, но сам до близкой воды никак долететь не может и просыпается.

Сонный покой настоялся в избе, но Фимка мог бы побожиться, что не избяная умиротворённость разбудила его, а что-то исходящее со стороны подняло его среди ночи.

Хоронясь разбудить больших, Фимка сполз на животе с печи, зябко потоптался на месте, поскрёб крапивные волдыри, подобрался к окошку: весь видный в щедром лунном свете за окном стоял Лёнька. Он махал руками, манил Фимку на улицу и приплясывал от торопкости. Нехотя, спотыкаясь о свои же ноги, Фимка вышел на крыльцо:

– Что надо?

Да Леньке ж чихать на Фимкину гордыню. Покуда тот стаскивал со ступеней ленивые ноги, Лёнькино терпение лопнуло, и он сразил Фимку наповал:

– Перчиха к Савватею пошла!

Фимку будто пнули сзади.

– Когда? – слетел он одним духом во двор.

– Важничаешь... – только и сказал Лёнька. – Айда скорей.

Сквозь огородную калитку, повдоль грядок, через плетень, ложбиною, за ручей... всё разом, сплошным намётом покрыли парнишки и, запалённые, с ходу ушли в тальники у лысого яра.

К дому на яру можно было бы подобраться только со стороны реки. Там, на месте снесённых весенними водами старых деревянных сходен, чернели в береговой крутизне глубокие вымоины, лоснились гладкие каменные уступы. Этакой чёртовой тропинкой могли подниматься на яр разве что мураши да самые отъявленные сорванцы.

Фимка с Лёнькой добрались до реки и крутизной стали карабкаться на плесивую маковку.

Когда вровень две головы поднялись над кромкою яра, близость Савватеева дома показалась им странной: будто бы дом поджидал мальцов и сам подвинулся поближе к берегу, вроде прислушиваясь к шорохам ночи. И всё кругом, такое весёлое днём, теперь стало другим. И лозняки, и сосняк за рекою, и сама река... всё чего-то ожидало плохого. А вот луна... ту земные страсти не пугали, светом своим так и лезла в щели заколоченных окон, уж больно ей хотелось узнать, что же делается внутри старого барского дома.

Ребятишки на коленях выползли на каменное темечко яра, прилипли животами к холодной его плешине, замерли...

Прямо, считай, перед носом сквозила чернотою большая дыра. Это, однако, тётка Перчиха, пробираясь в дом, оторвала внизу приколоченные на месте бывшей двери горбыли и, разведя их на стороны, оставила так до поры. Дыра, казалось, втягивала в себя тишину ночи. Злая, разбойничья тишина натянуто звенела над яром и ползла, ползла в чёрную дыру.

Голова к голове, подбирая штаны, двинулись мальчики к чёрной глотке страшного Савватеева дома. Она проглотила их обоих разом и осталась развернутой ждать, может, ещё добычи.

В давние-то времена от парадной двери барского дома поднимала гостей и хозяев наверх богатейшая резная лестница. Теперь та лестница и обломана была, и обобрана, и сама развалилась, и подняться на второй этаж можно было только «вподтяжку». Из нижней бывшей гостиной по крепким ещё крепёжным столбам надо было подтянуться до потолочного перекрытия, там протиснуться между широких досок и очутиться в барских опочивальнях. Лепные потолки оглядят тебя сверху донизу, за потрёпанными обоями станут шушукаться про тебя, как столетние хозяйские приживалки, хрупкие от давности газеты.

Тётке Перчихе такие фокусы не по летам. Где-то внизу она, рядом. А может, и Савватей с нею... Кажется, руку протяни – и упадёт на ладонь холодная капля с мокрой его бороды. А темнота в доме такая, что её можно попробовать языком: сырая, холодная, гнилая... а густющая! Промешай её весёлкою – потянется следом, как тесто.



Фимка с Лёнькой прокрались из парадной в гостиную. Там оказалось поприглядней: луна смотрела сквозь щели горбылей и резала темноту полосами света.

Неслышино ступать по половицам гостиной оказалось делом мудрёным: они и стонали, и пели всеми голосами.

Впритирку к стеночке пошли ребята глубже в дом, туда, где была когда-то барская кухня, где пахло плесневелой глиной, и дальше, в просторные, жадные барские кладовые. У дверного проёма кладовой Лёнька вдруг остановился, и Фимка больно обступил ему запяtkу. И тут-то встречь ребятам зашаркали осторожные тайные ноги. Смутное бормотание скоро стало различимым, и вот уж у самого порога кто-то сказал в темноте:

— Шишина, однако... Ишь ты, суета пёстрай...

«Перчиха!» — поняли мальцы. А Перчиха продолжала говорить:

— Самая ж, холера, ноская... Ну ды, чёрт с нею! Пущай дома несётся. И так хорошо...

Так вот за какою такою нуждой ходила Перчиха в старый барский дом, да ещё ночным временем!

И не успел Фимка толком сообразить, об чём это Перчиха печалится, как та уже перевалилась старым телом через порог кухни. Половицы охнули под такою тяжестью, трубный голос раскатил всю тишину, да с таким грохотом, что Лёнька с Фимкой не утерпели и захихикали в ладони.

Перчиха, оставляя за собою широкий след побитых яиц, на четвереньках переползла кухню, завалилась за порог и там... святая её молитва скоро затихла в ночном покое.

А мальцы носились скоком по дому: нет никакого Савватея!

Перчиха ворует яйца! Хорошо!

В кладовухе, где когда-то погас, не разойдясь по дому, давний огонь, вовсю хозяйничала луна. Должно, Перчиха сама лазила на чердак отворачивать потолочные доски. Над досками же давно проломилась, под тяжестью времени, тесовая крыша, и сквозная дыра впустила в кладовуху весь мир. По углам были хозяйски устроены курии гнёзда. И не один день и не одна курица, видать, приносила сюда для Перчихи свои подарки.

— От ловкая, — дивился Фимка, — от жадная!

— Так она ж, говорят, за чужим-то добром в могилу ночью полезет, — уверил Лёнька.

Он умело поддел ногою первое гнездо, Фимка перехватил его и трепанул о стену... И пошла потеха...

Прах и перья взлетали к потолку и валились на головы мальцов, на стены, на несгорелые балки пола.

Увешанные трухой, усталые от буйства и страхов, довольные парнишки, наконец, угомонились, сели рядом на балку.

Буря в них остыла, и опять стало наползать неведомое. А там подступила тревога, а там изо всех щелей полез вместе с тишиною давешний страх. Ребята прижались один к другому и затихли.

Вот наверху что-то ухнуло, стукнуло и заскрипело, будто отворилась давным-давно закрытая дверь. И поползли по дому шорохи и шёпот. Хрупнула лестница под чьей-то тяжестью, в кухне звякнула ведёрная дужка...

Мальцы замерли! Явственно и жутко дохнуло в углу кладовухи, зашипело капризно, и тонкий жалобный голос позвал из-под земли:

– Кирь-рь-ка...

Как очутились мальцы в деревне, и так понятно.

Горели обхлыстанные травой голые ноги, щемило глаза, душонки трепыхались выпавшими из гнезда жуланчиками.



А деревня ещё спала глубоким утренним сном. И не было в этот сладкий час никому самого малого дела до лысого яра.

Кто звал, зачем, почему канувшего во времени Кирьяна? Сам ли Савватей маялся неуёмною жаждой мести за свою страшную погибель или ещё какой нечистый дух отпугивал от лысого яра людской интерес? Но голос тот был такой живой, что Фимка с Лёнькой за эту правду готовы были положить животы свои.

Оба вместе поднялись они на поветь, где сохла скошенная для овец Фимкиной матерью трава. Сладковатый парной дух тронутого поверху утренним холодком молодого сена обволок озорников миром и чистотой.

Мальцы оказались как бы отгороженными от недавних страхов надёжною стеною простой жизни. Вся неуютность, вся неотогретость недоступного осталась там, на лысом яру.

– Никого там нету, – сидя рядышком с Фимкой, решил Лёнька. – Я ж сам в том углу руками шарил.

– Так ить голос-то какой был? Подземный, – доказывал Фимка.

– А может, Перчиха чего там наладила, людей пугать? – не уступал Лёнька.

– Чтобы не поняли, что за яйцами ходит?

– Не, Лёнька! – отказался Фимка. – Знал бы ты, про чо мне бабушка вечор говорила. Про Кирьяна!

Долго Фимка шептался с Лёнькой на повети про Савватея-барина, про Кирьяна-ослушника, про Кирьянову живую воду...

Когда уснули мальцы, и сами не помнили. И не слыхали они, как ушла в поле Фимкина мать, как Фимкина бабушка, поднявшись с крехтом по лесенке, долго глядела на сопатых друзей, сонно разметавших руки-ноги по молодому сену.

При дневном свете дом Савватея-барина смотрелся внутри куда как тяжело да больно. Глядя на облупленные углы за рваными паутинами, на плешиевые стены, думалось: «Неужели тут когда-то жили люди?».

Плохо было тут, недужно. И никакого страха. Просто помирает то, чёму давно пора быть забытым. Отсюда и неловкость, и робость, с которой мальцы виновато прошли комнатами. В кухне ж они малость заробели, а уж в кладовуху вошли только на одних козырях: как бы перед другом не оказаться себя заячьим хвостом.

Тут всё помянуло ребятам о ночном разбое: горелый пол, балки, стены замела пыль, да труха, да перья... Поверху же неприглядности веселились солнечные зайчики. Уж такая весёлость исходила от них, что мальцы услыхали сразу и воробышку возню на чердаке, и ветровую лёгкую песню над яром, и вольготное парование духмяной тайги.

Но какая-то уступчивость тому тайному, что звало тут ночью незабытого Кирьяна, удержала сорванцов опять рвануться в бесшабашную радость. А заветный угол кладовухи тянул ребят к себе неодолимой силою.

Дом Савватеев строился безо всякой боязни перед земною сыростью – брёвна укладывали прямо на скальную породу лысого яра. Никакого такого



ПОДПОЛЬЯ, как в других-то домах, в этом доме не было, и Фимка с Лёнькой, потыкавшись в камень, сели прямо на труху и, от нечая делать, уже нехотя выгребали ладошками из угла лежалую золу да уголья.

Из-под грязи потихоньку обглаживался перед мальцами плоский круговой камень, так это с печную заслонку обхватом. Каменная заслонка была плотно втёсана в основу яра ловкою рукой умелого человека. Но никакого подхвата, ручки ли, зацепки ли, крышка не имела, и поднять её оказалось нельзя.

Э, нет! Не руками старой Перчихи вдолблена каменная заслонка. Не она тут подстроила пужалку. Да и где же ей, глухой, вполуха уловить под землёю вздохи и бормотание? Ей, поди-ко, и явный зовущий голос слышится как по-свист шалого ветра.

И не затем заслонка в скалу втёсана, чтобы сохранять под собою холодную крепь лысого яра.

Когда-то же эта крышка кем-то отворялась?

Из тонкой, в ниточку, щёлки несло не то гарью, не то гнильём. Мальцам только и осталось, что припасть к заслонке и всем слухом уйти в неведомое чужое житьё.

Вдруг за спиной ребят что-то трепыхнулось, и, обернувшись, увидели они на дверном порожке серого утёнка. Тот качнулся на слабых ножках, наклонил голову, будто видеть одним глазом ему было удобней.

Солнце снопом весёлых лучей заливало птенца, и Лёнька с Фимкой углядели на малой птахе шитый золотом, расписной камзол. А под каменной заслонкой что-то щёлкнуло, крышка под ребятами будто лопнула пополам и пошла расходиться на стороны, подворачиваться куда-то под скалу. Ребята отскочили в сторону и увидели неглубоко, в этакой гладкой каменной выемке, тонкую струю родниковой воды. Вода светилась насквозь, тянулась к ладоням, подпрыгивала, захлебывалась радостью, просилась в руки и, не дотянувшись, убегала куда-то в яр, всхлипывая и журча негромкий укор.

– Кири-кири-кири.

Как гром среди ясна неба грянул над яром Перчихин голос. Что ошпаренные, подпрыгнули на месте ребята и увидели, что давешнего утёнка нет, и никакой заслонки – в яру, и никакого живого ключика... Закрылся яр.

Лишь наметена между мальцами куча лежалой золы да чёрных углей.

А в дверь кладовухи уже глядит носатая голова тётки Перчихи, и громкий голос радуется:

– А-а, злодеятки, где собрались. Щас я вас посыплю перцем...

Сколь потом ни слушали Фимка с Лёнькой, голос на лысом яру больше не позвал Кирьяна.

Может, когда-нибудь ещё кому суждено увидеть Кирьянову воду?

А и взять её у чёрной силы?





ПРОЙДА



Раньше было как? Только заметили в человеке какую-нибудь необъяснимость, тут оно и есть – колдовство! К мужику какому боязно пристроить такую приладу – он уж постарается рыло-то выдумщику занавесить блямбою потяжелей! Ещё и вперёд накажет: ходить-то, мол, ходи, а хреновину не городи!

Не всякая и молодайка покорится ведьминому званию. А вот старухи – самый что ни на есть подходящий для этого страху материал. Только вздумай пустобрёх зацепить языком такую бабку, глядишь, уж она и сама почуяла в себе что-то заветное. Уже и к лечбе в ней способность проклонулась, и присушивать-привораживать годна, хоть воробья к вороне...

В тайном колдовском ремесле старухи одна другой не мешали – каждая служила по своей особой статье.

Иная бабка посадит, к примеру, порченого на порог избы, голову ему нагнёт, поставит на затылок ковш холодной воды, от хозяйки примет плавленный на печи воск и струит его из кружки в воду. А в ковше шипит, бормочет...

– Слышия! – строжится бабка. – Ет нечистая сила серчат, почто как чичас узрим мы её поганую образину!



Враньём бабка врёт, а в тёмной да тихой избе людям и вправду кажется, что из ковша исходит сердитое недовольство!

Из того перелитого в ковш воску получалась такая образина, что глянь на неё нечистый – сам бы со страху испортился.

Знахарка же, бывало, сует стряпню свою леченому в лицо да пытает:

– Свинью супоросную видал?

– На той неделе.

– А петуха на заборе?

– Ещё летом.

– А собака на тебя брехала?

– Так она на то и собака, чтобы на всех брехать.

– Я, милай, покуда про тя одного спрашиваю!

– Что ж ей не брехать, у неё морда не завязана.

– Во! – скажет со значением лекарка, поднявши палец. – Это чёрт кидался на тебя в собачьем образе. Он же, рогатый, и петухом тебя обкричал.

– И всё разом вылилось?!

– Даык ведь я, милай, не как другие. Я порченого человека одним заходом лечу...

Некоторые старухи умели зазывать былую любовь! Брошенную мужиком бабёнку такая старуха поднимет сонную среди ночи и ведёт в холодный летник. Там велит ей волосы распустить, стать на колени лицом к отворённой печной дверке. Тридцать три раза кричать следует нужное имечко, чтобы через трубу на улице было слышно: «Мики-фор-ко-о-о!» или «Сте-па-нуш-ко-о!». Слышишь, мол, кто тебя зовёт?!

И ведь хватало терпения! Одна у печи всю ночь орёт, другая на лавке дремотой сидит маётся, вздрагивает да крестится на зычный голос. И посмеяться-то на них жалко.

Таких лекарок и в голову не приходило никому ведьмить. Никто никакой боязни к ним не чуял. Наоборот. Утром мать там али

бабка блинов на стол набросает, ребятишек накормит и сует которому-то из них тёпленький узелок в руку:

— Вам на речку мимо Ниловны бежать, запорхните к старой. Пущай-ка свеженького пожуёт, дай ей Бог здоровья!

Да-а! Эти лекарки были выдуманы для добра.

Но случались могутки и другого пошибу. Не жили они и дня, чтобы хоть малого вреда не причинить ближнему. Либо корову у соседа сурочат — молока не даст, либо килу посадят дотошному мужику, чтобы не подъелдыкивал, где не просят. Бывало, и молодуху сглазят — родит без времени...

Пакостили, одним словом.

Может, сами они и не хотели бы зловредить, только по сатанинскому ихнему уставу бездельники шибко строго наказывались. А уж, не дай Бог, которой в голову взбредёт ещё и добро человеку сделать — сразу жизни лишалась и определялась сатаною на вечные муки...

Оно и понятно. Таких колдовок народ боялся. Ежели кто и поздоровкается с такою ведьмою на улице, скорейча торопится домой открещиваться: кто знает, каким глазом поглядела старуха в ту минуту?

Но и злыдни эти могли творить погань не всю подряд; им был определён сатаною каждой свой удел и значение. Кто сватов от крыльца поворачивал, кто град на поле называл, кто разлуку творил...





А вот бабка Пройда была неудобна для людей тем, что, наступи ей в горячий след ногою, – непременно с кем-нибудь подерёшься или поругаешься до злобы. Порою такая вражда разгоралась – деревня на деревню шла! Так ли стервенели, что и себя не помнили. А разобраться – даже чоху собачьего для ругани не было.

И никакой охоронки от Пройдиного следу люди не знали, поскольку с приходом темноты становилась колдунья невидимой и ходила, где хотела и перед кем ей вздумается.

Ради такого удобства она раз в году на поганом пустыре варила для себя колдовское зелье. Разливала его по склянкам и хранила при себе. Когда надо, отхлебывала по глотку и становилась невидимой. Так и ходила она воздухом по деревне да слушала людские разговоры.

С молодости в ней такое началось, с девичества. Сперва народ думал, что парни, потасуясь, красоту её поделить не могут. А когда она замужни за кого не пошла, сообразили, что неспроста гордыня её одолела.

Тогда стали сходиться всей деревней – Пройду ловить. Да только из благой затеи опять же война получалась. Если бы знать, когда Пройда варево затевает, какой колдовской ночью поганит она душу свою сатанинским делом, тогда бы можно было подкараулиць старую и плюнуть ей в глаза. Если угодить без промаху, нападёт на Пройду куриная слепота: целый год не видеть ей в темноте, сидеть дома слепым сиднем. И тогда целый год не было бы в деревне драк, и даже ругань бы ни у кого не получилась.

Но Пройда, видать, боялась быть пойманною на пустыре, поскольку парни, которые пытались её укараулиць, всё делали только во вред себе. «Чёрт с нею, с Пройдой! – решили люди. – Лучше не трогать».

Но хвост репья не ищет.

Как руки ладонями сложить, так тесно со двором Пройды стояло подворье Броньки Сизаря. Жена у Сизаря и тихая, и хозяйственная, и рукодельная. А вот над самим Бронькой вся деревня смеялась:

– Ты, Сизарь, поди-ка, все запятки бабке Пройде пообступал? Шумота ты бестолковая, шумота и есть! Ты пошто ето со всякого восходу на людей-то кидаешься? Мало тя мужики-то буздыкают?

Измаялась Сизариха в срамоте жить, хоть помирай безо времени. И то бы согласилась, да вот сыновья-подкрыльшки – Гунька да Минька. Гурьян да Михаил.





— Эй, Сизари! — кричали им нередко через заплот мальцы деревенские. — Чем батька сёдни лупцевать вас будет? Батогом или сапогом?

Вся и перемена для братьев в отцовском доме. У других ребят в семьях тоже бывало по-всякому, но не так! А тут и по затылку, и по спине, и на, и на! И ни конца, ни краю...

Тверёзый Бронька Сизарь шалопутный, а уж когда нажрётся, да в своём доме всё перехлестает, тогда к бабке Пройде бежит — убивать старую за свою срамоту. Но ить Пройда не робкого десятка: так, случалось, влупит скалкою по-перёк Бронькиного лобешника — юлой пойдёт мужик! И опять у него домашние виноваты.

Обычным делом для Броньки было расслюнявиться после бойни. Голову повесит, губы распустит и сидит, бьёт себя в грудь да жалуется:

— Пройда, ведьма лупатая, меня урочит. Куда бы ни шагнул — чёрт её вперёд несёт... Гунька! Минька! — зовёт. — Сыночки! Пройда меня путает.

Вот и задумали Гунька с Минькою скрасть бабку Пройду на поганом пустыре, когда ведьма будет варевом занята. Решили они хоть через смерть, а плюнуть ей в глаза.

Поганый пустырь в аккурат лежал за Пройдным огородом и с Сизарёвой крыши был виднёхонек как на ладони.

У матери не надо было спрашиваться, поскольку ребята и без того частенько спали на чердаке, особенно когда отец бывал пьян. Там у них давно и соломы натаскано, и ремяя всякого. Можно и на палку закрыться. А из чердачного окна следи за пустырём хоть круглый год.

Вёснами пустырь обрастал полынём, крапивою да дикой коноплёй столь густо, что на голую его серёдку целое лето никто не заглядывал. К осени бурьян отцветал, и сквозь долгий быльник проглядывала широкая плешина пустыря.

— Плешину ту черти вытоптали, — говорили деревенские бабёнки. — Когда Пройда варево своё на огонь ставит, так черти дровами ей помогают. А напившись зелья, веселятся. Вот и вытоптали себе точок копытами.

Самых чертей людям не видать, но колдовскою весёлой ночью поднимается в округе сильный ветер, и по земле скачут искорки из-под чертёжных копыт. Уж тогда лучше дома оставаться! Не то искорка такая зацепит человека на лету — всего обметает пузырём, коростою осыплет...

Обо всём этом Сизарята знали не хуже остальных. Потому-то они решили не ждать, когда черти успеют зелья нахлебаться да невидимыми стать, а захватить Пройду на пустыре одну. Для того нарядиться чертенятами и подбежать к первому огоньку.

Напасли они себе на чердаке сажи, из овчины бросовой сообразили лохматые штаны сладить, прицепили к ним телячьи хвосты. Каждый вечер по-тёмкам наплетали они волосяные рога надо лбами, чтобы при нужде долго не возиться.

Захвати их Бронька Сизарь за таким занятием, посшибал бы обоих с чердака! Уж он бы им наложил чертей! Но ни единая душа не знала о задумке



Сизарёвых ребят. И ведь сколько надо было набраться терпения, чтобы и спать каждую ночь вполглаза, и не бояться Пройду сторожить. От настырные!

Ночь, другую, пятую сидят, не уходят... А лето катится. Утрами уж стала земля туманцем попыхивать. Мать ругается на сыновей – простынете, чердачники! Чирьем обдаст!

Но взашей с чердака не гнала – любила Сизариха сыновей.

В тот вечер долго не темнело. Слышно было, как брешут на деревне собаки, выхлестываясь в подворотни на дальние голоса весёлых мужиков. Там же где-то и пьяный Сизарь доказывает людям жизненную пригодность своей правды.

Гунька с Минькою, привыкшие глядеть на пустырь, сидят на чердаке да шепчутся вовсе не о том, чего ради вот уж которую неделю гнездятся они в этой пыльной темноте. Сверху ребятам видно, как крутые вихорьки завеваю по земле сор позднего лета, уносят его за огороды и прячут где-то в густых лопухах.

Скоро ветровую игру застила ночная хмаря, стало лень говорить. Дрёма потянулась погладить ребят по рогатым вихрам, но вдруг отдернула руку и пропала в темноте. А Сизарята подхватились враз и выставились часовыми птахами в чердачное окно: чёрная тень кралась вдоль стены Пройдиной избы! Словно вода через сито, просочилась тень через сеношную дверь, и тут же в избяном оконце посветлело.

Вспыхнуло оконце да погасло, а во внезапно расхлёстанную дверь выкатился и съехал по ступеням крыльца живой тёмный ком. На земле он разровнялся, вытянулся и пополз через двор, огородом, в жухлые конопли поганого пустыря.

Ребят окатило немочью! Сели они на чердаке друг против друга – не помнят, кого как зовут. Но спохватившись, опять на улицу высунулись.

И не вспыхни на пустыре огонёк, они его со страху всё одно бы увидели. Однако робкий огонёк и на самом деле мелькнул за бурьяном.

– Где штаны? – подскочил Гунька. – Давай сюда сажу!

Натянули они на себя овчину с телячими хвостами, сажею навозёкались, проползли огородом между капустных кочанов и полезли через пряслы.

– Никого нетути! – трясясь в бурьяне, шепнул Гуньке Минька.

– Ты чо, ослеп? – дёрнулся тот. – Туда гляди! Видишь? На кукорках сидит? Огонь в кулаке раздуваает!

– Боюся-а...

– Цыть! Заходи спереду! По кругу прыгай, чтобы ведьма ко мне оборотилась. Я стану у ней за спиную... Как повернётся – плюну!

Выскочили ребята из быльника да и про договоренность оба забыли – заорали в два голоса, завыли истошно. А ведьма этак вскинулась, повалилась на землю, и руки врозь...

Управились.

Братья молнией домой! Вихрем на чердак!

Посрывали с себя всё чертячье, мордашки пообтёрли кое-как, а от страха спрятаться не могут. Полезли на сеновал. Но и там изо всех углов светят жёлтые глаза! Колодезный журавль в огороде и тот тянется к мальцам долгой шеей – вот долбанёт по макушке! Куда деваться? Хоть в избу беги. Но не дай Бог, отец пьяный вернулся! Во дворе ещё будет чего или нет, а уж отец не промахнётся...

Одно осталось – пробираться в избу да на полати лезть. Обошлось на этот раз – только мать и подала голос из темноты на шебуршание:

– Озябли, полуношники? Время ли по чердакам-то слоняться?

На полатях ребята расплели себе рога, обчесались пятернями и давай шептаться, покуда мать не заругалась.

Притихли Гурьян с Минькою, а сон только того и ждал.

Утром Сизарихе шабур какой-то понадобился на полатях. Сунулась она наверх – батюшки! Поизмазаны ребята, что головёшки лежат. А лохматы! А исцарапаны! Кинулась банёшку топить, согрела быстрёхонько воду, ребят толкает.

– Вставайте, прокудники! Живо в баню, покуда отец не явился.

Дала обоим подзатыльников, сама заторопилась корову доить. Без матери братья набузовали в корыто воды, полезли мыться. Сидят шушукаются между собой – что делать? А банная дверь как распахнётся во всю ширь! И стоит на пороге живёхонькая бабка Пройда!

Сизарята чуть не утонули в корыте.

А ведьма поглядела на братьев сквозно да и говорит:

– Как время придёт могилу копать – ройте сами! Место берите у трёх берёз. Поняли? У трёх берёз!

Повторила так ведьма и пошла прочь, а у ребят заднушки ко дну пристыли.

Тут во дворе мать истошно завыла!

Надёрнули ребята одежонку, выскочили из бани, а мужики деревенские несут через огород с поганого пустыря чёрного, как земля, отца... Вот те и бабка Пройда!

Бабы уж во двор набились, стоят, судят потихоньку:



— Это черти Броньку на пустыре загоняли. Вечор грозился подстеречь Пройду за её варевом... Вот и подстерёг!

— Жалко мужика из-за детей, хоть и дурак.

— Как теперь Сизариха останется? Вьюшка-то хоть и черна, а тепло держит.

— Конешно. Не ядрышко он был ореховое, но и щербаты грабельки сено гребут...

Стоят Гунька с Минькою, разговоры бабы слушают, однако нутром понимают, что сами они отцовой смерти первая причина. Оттого-то и потупились братья сильнее печального, и на людей не могут смотреть.

Утром другого дня засобирались мужики покойнику могилу копать. Но Гунька с Минькою вперёд вышли:

— Сами будем рыть!

— Не принято своим-то...

— Сами!

— Господь с имя, пущай идут, — решила за всех самая древняя бабушка. — В этом завете одно только сердоболие, а греха никакого нету.

Взяли Сизарята лопаты, прихватили лесенку, пришли на кладбище. Тихо кругом. Осень уже успела сбрызнуть берёзовые листочки желтизной, а тепло. Однако братьям зябко сознавать, что кончилось их неуютное детство и надо теперь думать не только о себе, но и о горемычной своей матери.

Стоят ребята, прикидывают, где могилу начать.

— Тут по три берёзы целое кладбище.





— А вот за бояркою...

— И правда! Што сёстры.

Пошли братья за боярку, а там, между трёх берёз, простору как раз на одну могилку, и уж само рытьё кем-то начато. Только ни копальщика, ни лопаты не видно.

А ведь деревня не уезд и даже не волость, тут каждый знает, сколько покойников случилось. Выходит, что могилка кем-то начата ни для кого другого, как для ихнего отца.

— Должно, вечер мужики начали копать, — стоит гадает Гурьян.

— Мы бы про то знали, — не соглашается Михаил.

— Тогда Пройда...

— Ну тя! — испугался Минька. — Ещё, поди-ка, и на нас наколдовала... и мы тут ещё помрём! Пойдём отселева.

— Куда? — ответил Гунька. — Ежели Пройде надобно человека уморить, она его хоть где сыщет.

И, словно бы в подтверждение сказанного Гурьяном, углядели ребята на близкой кладбищенской дороге неторопкую согбенную спину бабки Пройды...

Только лопаты замелькали в руках братьев. Копают Сизарята, а земля до того мягко подаётся, словно могила уже кем-то копана на всю глубину, да засыпана для интересу непонятного.

К полудню мальцы, считай, справились со своей невесёлой работой; осталось на вершок углубиться, и можно отряхивать штаны. Тут вот Гурьянова лопата и уперлась во что-то неподатливое.

— Гроб!

Но Минька зря вылетел наверх, как подкинутый, — под лопатой оказалась старая корчажка, а в ней тряпица с деньгами!

Найденных денег было не так уж и много, чтобы Сизарям сразу захотелось другой жизни, но на завтрашний день можно стало глядеть без боязни. И вдовьи слёзы на глазах самой Сизарихи скорее ожидаемого высохли, с полным-то карманом...

Ладно.

Вскорости померла и бабка Пройда.

Деревенским сходом было решено похоронить ведьму на поганом пустыре, да чтобы душа её неусыпная ночами больше не блукала по дворам — воткнуть на её могиле осиновый кол.

Миньке с Гунькой чаще других доводилось потом ходить мимо Пройдиною пустыря: то на речку побегут купаться, то рыбки на уху добыть, то травы покосить на пологом речном берегу.

И чем выше поднимались ребята годами, чем глубже сознавали они истинную причину отцовой смерти, тем неотступней одолевала их загадка — каким таким манером, каким чудом оказались тогда под Гурьяновой лопатой деньги? Тем невыносимей было видеть им осиновый кол на поганом пустыре.

Сизариха взялась жаловаться соседям:

— Вышла надысь потёмками на крыльцо, а они оба стоят, на пустыре глядят, шепчутся. Ой, подружки-подружки! Ой, что мне делать?! Томятся мои ребятки...

– Бабку искать, – советуют. – Пущай придёт порчу выльет. А так хоть задумайся – одной думой и комара не убьёшь.

Но скоро отпала нужда бабку искать. На Семён-день¹ чуть свет тарабанит Фроська Халина в Сизарёво окно, шумит:

– Эй, хозяйка. Выходь скорейча, глянь-ка, что на пустыре-то деется!

Сизарихе ажно в голову дало – сыночки! Слепая, босая, в одной рубахе кинулась она через огород. Халиха её и догнать не смогла. Когда же Фроська пролезла чернобыльником на пустырь, застала там Сизариху, полную удивления: а дивилась она трём молодым берёзам, выросшим в одну ночь в изголовье Пройдиной могилы, да резному берёзовому кресту на месте осинового кола...

И Халиха, и Сизариха не в силах были сообразить, когда же всё это успело образоваться?! На голом-то пустыре!

А народ уже сбежался со всех дворов, ахали поражённые бабы:

– Вот те и Пройда!

– Ну и ну!

– Святая! Как пить дать – святая!

– Земля ей пухом!





АКЕНТЬЕВО ОЗЕРО

B

таёжному углу Среднего Приобья столько озёр, сколько у рыбого пятен. Тут и Кривое озеро, и Тухлое, и Глубокое, и Раздольное... Господи! И Лешево озеро! Рукой махнёшь... Но только к одному Акентьеву озеру была прилеплена дорогая марка – волшебное!

Лежало то озеро среди векового леса, по всему окоёму заболочено и кувшинкою заметено. А серёдка чистая, синяя. Какой бы шальной ветер ни хватывал тайгу за вихры, Акентьева озерка ни одна струя не задевала. Словно кто-то умелый дохнул как-то один раз на воду и усыпал её на веки вечные.

Никто не доставал в Акентьевом озере дна. А спорщики отыскивались хваткие, удалые! Бесполезно. Ни один хват ни у кого не выспаривал.

Высоко над озёрным берегом поднимался с поддонной глубины белый камень. По верху он был ровнёхонький, что пень, срезанный пилою. И хватало того срезу ровно на одно подворье.

С белого камня до самой дымки земной видел человек перед собою тайгу и тайгу...

На том озере даже комара не водилось. Ничто не мешало человеку чуять, как влияет в него природа здоровье своё, как разговаривают между собой земля и солнце.

Ой, благодать!

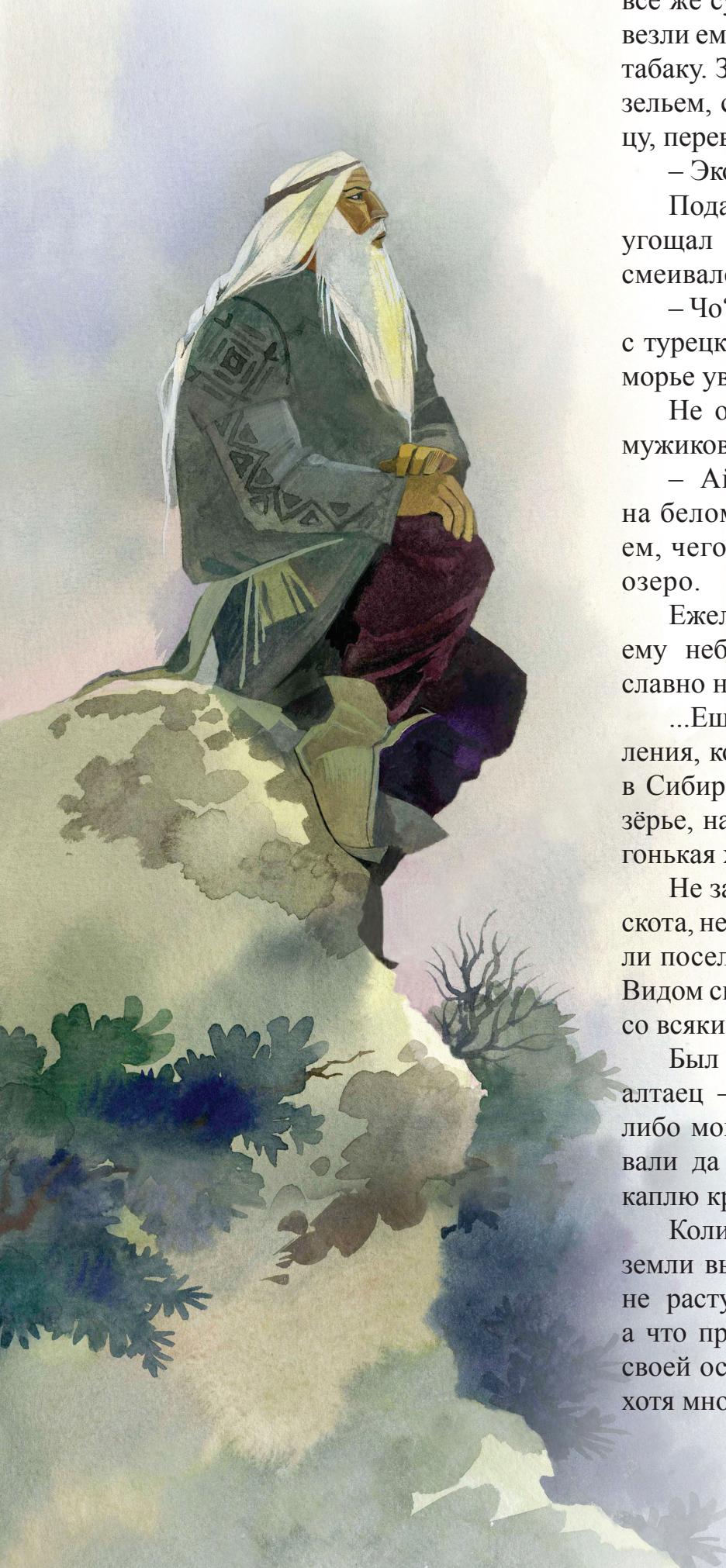
И хотелось тогда верить, что открывается озеро перед человеком! Но когда? Каким днём? Каким часом?

Старики успоряли, что были такие удачники, которые своими глазами видели, как однажды поднялась озёрная вода выше тайги, потом упала разом и оставила на ровной середине дворец несказанной красоты! Располохнулись в том дворце светлые двери: проходи кому хочется, бери добра сколько надо. Однако докладали, что хозяин озера до жадных больно строг!

Среди окрестных просташей никто на лёгкую наживу не надеялся, потому и посмеивались над стариками – ну откуда бы в таёжном озере взяться дворцу?

– Пущай не верють, – больше других обижался на чужое сомнение дед Воркуток. – Только волну чохом не собьёшь. Может быть, не дворец... А всё-таки ктой-то живёт на дне, в самой глыбокой низине. Только об этом до времени никому знать не дано, и я не скажу...





Но к Воркутовой тайне мужики всё же сумели подъехать тем, что привезли ему из дальнего извоза турецкого табаку. Затянулся Воркуток заморским зельем, стрельнул кашлем на всю улицу, перевёл дух и удивился:

— Эко, холера! Не хуже самосаду.

Подарком этим он долго потом угождал стариков да каждый раз посмеивался:

— Чо?! До кишок прорало? С этого с турецкого дымку вы у меня само заморье увидите!

Не отпихнулся тогда Воркуток от мужиков, а приняв подарок, сказал:

— Айда, однако, робя, посидим на белом камне, пождём да послушаем, чего нашебаршил нам Акентьево озеро.

Ежели старый Воркуток, царство ему небесное, и набрехал тогда, то славно набрехал!

...Ещё до времени великого переселения, когда потянулся из Рассеи народ в Сибирь да стал обживаться в межозёрье, на белом камне уже стояла убогонькая халупа старого Акентия.

Не за потраву посевов, не за падёж скота, не за какие другие горести нарекли поселенцы Акентия того колдуном. Видом своим уж больно не сходился он со всяким другим человеком.

Был Акентий тунгус – не тунгус, алтайец – не алтайец. Может, китайцы либо монголы в своё время тут побывали да обронили в тайге сибирской каплю крови своей?

Коли сравнивать, то монголы от земли высоко не входят и выше себя не растут; алтайцы – те безбороды; а что про китайцев сказать, так эти в своей основе дробненьки да сухоньки, хотя множатся скорее других.

Никому из них Акентий-колдун во внуки-сыновья не подходил. Бог его знает, какого корню отросток, но только был он и строен, и высок, и бородища седая в пояс – будто полощена хозяином в синем озере! Нос орлом, брови мховы! Колдун да и только!

Ежели бы не раскосые глаза, можно было бы принять его за родовитого, но опального русского боярина. От Акентьевых же глаз тянуло какой-то степной дикостью и тайной.

Одним словом, являлся Акентий какому-то старому роду закатным лучом.

И ещё в Акентии была загадка: немтырь его поборол. Люди считали его безъязыким и придумывали то, чего знать не могли, а хотели.

– Дык, это ж ему ватажьё, поножовные брательники язык-то остригли, – говорили пугливые.

– От вра-ать! – вставали за Акентия смелые. – Сам он его скусил! Чтобы никому не знать, при случае, не открывать великой тайны!

– Ы-ы-ы... Дура! Тебе скусить! Дикость вековая кляпом в горле у человека застряла, – оправдывали старика трети. – Думать надо башкой, что говоришь...

И летами, и зимами, и в солнцепёк, и в сузморозь ходил Акентий с непокрытой головой. А кто видел его на охоте, тот докладал:

– Так вот и полощет сединою по сквозному ветру.

Акентий не вот перед расейскими поселенцами пожаловал жить на Синее озеро. Должно, веками ставили на белом камне прадеды его и пращуры. Веками гляделось им с высоты за тёмные леса, куда в снеготаянье тянулись на летование стаи терпеливых крылунов.

Походило на то, что с Акентием обрывалась его родовая жила, и теперь один-одинёшеньек высматривал он вдалеке последние свои дни.

Скорым летом стал Акентий ходить каждодневно по улицам новой деревни: идёт вдоль домов; туда-сюда поглядывает. Глазами тянется за ограды, ощупывает встречных немым вниманием. А людей, понятно, знобит от его глядения. Кланяться-то они старику кланяются, но у каждого в груди жилочка поганая трепещется – чур меня! Иди-ка ты, нечистая сила, мимо. Тот, о ком ты соскучился, не в нашем дворе живёт.

И ведь не напрасно тревожились поселяне – не зря ходил Акентий по деревне. Выбрал старик изо всех людей самого что ни на есть бесталанного парня – Кондратия Мешкова.

Хоть в больших дураках Кондратий никогда не состоял, но ездили на нём люди, веселясь, поскольку была в нём та самая простота, которая хуже воровства. Жил он между людей беднее обобранного, как верстовой столб на дороге: и не обласкан, и не прикаян, и в тулупе наг, и в пиру тверёз. Люди только диву давались:

– На тебя, паря, и смеху не хватает, и жалости недостаёт.

Когда старик поманил Кондрата на Синее озеро, тот и спрашивать не стал – зачем? Распахнул глаза, лишь бы не споткнуться, и пошагал за колдуном.

Следом побежали ребятишки деревенские глянуть, что же Акентий с парнем делать собирается?

А те оба-два поднялись на белый камень, остановились рядом. Тут-то, обнявши парня за молодые крепкие плечи, Акентий вдруг заговорил простым, ласковым голосом:

– Это место, брат-Кондрат, хорошего человека любит. Кроме тебя, некого тут оставить. Так что будь моему дому хозяином и никому белого камня не уступай.



Впоследствии ребяташки, переживая заново страх да удивление, много раз повторяли – не отдавай-де белого камня!

Тогда и Кондратий от неожиданности тоже было попятился, отказаться от Акентьева подарка хотел, да не успел. И не один он, а и ребята видели, как метнулся колдун с высокого белого камня и пропал в озёрной глубине.

С потерей Акентия деревню будто вытряхнули из тёплого мешка прямо в непогоду, будто в летнем саду взял кто-то злой и сломил самый лучший цветок. Людям стало ясно, что проглядели они прекрасного человека. А теперь хоть кукушкой взлетай на ветку да изливай земле сиротскую тоску.

Однако жить надо. Куковать-то кукуй, а про гнездо маракуй.

Стали жить дальше.

Большого счастья Кондрату белый камень не принёс, но Акентьево подворье сгодилось парню – народ стал серьёзнее на него смотреть – хозяин! А когда и невесту себе Кондрат в деревне присмотрел, вовсе признали. За добрым словом стали к нему ходить.

Но не успел Кондрат прожить человеком зарю да зорьку – вот она, беда! Приехала кривая на косой. Поглянулось Синее озеро толстосуму – Савелию Брюхову.



Савелий богатый дом в уезде на самой широкой улице держал. А на белом камне захотелось ему соорудить охотничью зaimку. Не столь, поди-ка, для охоты, сколь для барского выгула. И в Сибири тогда хватало всякого такого добра. Финтифлюшки, прищебетники, лизунчики — помогали баровьям чужое проживать.

— Этого нам в деревне только и не хватало! — сокрушились больше остальных матери невест. — На распутство нами только ещё не глядено... Не уступай, Кондрат, белого камня!

— Не уступай, — вторили и остальные селяне. — Ежели что, мы за тебя всею деревней пойдём.

А Савелий не отстаёт от Кондрата:

— Я тебе столько денег дам — два дома поставишь!

— Нет! — упёрся парень. — Сам я тут живу на птичьих правах. Что как Акентий возьмёт да и воротится?

— Какой Акентий?! — беленился Савелий. — Ты чо, сдурел? Ты слыхал когда, чтобы с того свету людей отпускали земные споры судить?

— А ты? Нешто видел Акентия на том свете-то?

— Так ить все говорят, что колдун в озеро канул!

— Озеро — не тот свет, из него и выплыть можно.

Савелия Брюхова такой разговор только заквасил: обидою барин запыхтел, досадою через край полез. И топал-то он, и деньги совал, и криком краснел... Кондратий же тихой водою капает своё:

— Нет, нет и нет!



Не вытерпел Савелий Кондратова упорства – хлестанул несговора ременным кнутом от уха до плеча. Кровь брызнула. Уж настолько Кондратий Мешков был некипятной парень, а и он огнём вспыхнул – схватил вилы, подогнал хлестальщика к самому краю белого камня, и ничего не оставалось Савелию, как только сигануть в озеро.

Кондратий думал, что напугал барина, да ить клещ рогов не боится. У того ещё и одёжка путём не просохла после купания-то, а уж он явился на Кондратьево подворье со двумя стоялыми холуями. Втроём-то они прижали Кондратия к стене: либо уступай место на белом камне, либо мы тебе чёрный на шею повесим!

Вынудили-таки Кондратия сорвать со стены охотниче ружьё...

Сами трое только за деревней опомнились!

Однако барская правда на деньгах пасётся. А на том выпасе мурава сытная. Завсегда правда такая пересилит бедняцкую.

Скоро казённые сизари прилетели и на глазах у всей деревни забрали Кондратия с собой. Хмурых же мужиков ещё и по носам постукали: не вскидываться у нас!

Упекли Кондратия Мешкова скорым судом на дальние рудники, рубить кайлом неистощимую породу. Савелий же очистил от Кондратьева скарба озёрный камень, всё возможное спалил, скотинёшку никакую роздал своим угодникам и... уже работники-плотники пилят, рубят, строгают, мазальщики глину месят, тесаря камень белый долбят, стараются. А баринов приказчик бегает по деревне – скупить мужиков норовит, Савелию подмогнуть.

Но ни один простак даже не подумал ухом повести в сторону зазывалы – хоть кучу денег сули, хоть две. И бабёнки как сговорились: все повязались чёрными платками, будто глубокой печалью легла на них Савельева радость.



Понял Савелий, что под ним его же навоз загорелся; ежели так продолжать, то и волдырями недолго покрыться.

Стал он перед деревней улыбаться бегать. Но мужикам-то видно, что из-под Савельевых улыбок всякий раз готовы клыки прорезаться. А там, гляди, и щетина поднимется на загривке. Ой, во-олк!

И всё-таки построился Савелий на белом камне. С богатого своего подворья выдолбил он в камне лесенку прямо к озёрной воде, от нижней ступени отвёл к берегу откидные мосточки, чтобы можно было их убирать перед незваным гостем. Прежний пологий скат обрубил от камня долбёжкою, и стала Брюховская заимка неприступной крепостью.

— Думали, что без вашей подмоги мне не построиться? — как-то спросил на улице Савелий мужиков. — О! Глядите! Скоро новоселье, а вы, дураки, приработок такой упустили.

— Ну что ж, — ответил Савелию из толпы бойкий человек. — Не спели на радостях, подтянем на веселье...

Не пустое молвил Савелию бойкий говорун. Его обещание вспомнилось в укромном местечке удалыми ребятами:

— Посветить бы надо Савелию нонешней ночью. Пущай к новоселью готовится.

— Как ему посветишь? В дом он нас с тобою не приглашал и не собирается. А ежели ему снаружи светить, так уж больно долгая свеча нужна.

— Хо! Есть такая свеча! — порадовал шептунов тот же бойкий мужичок, что с Савелием на улице перекинулся. — У белого камня лиственку долгую помните?

— Ну?!

— Ежели умело её подпилить, она вершиною в аккурат на Савельеву крышку ляжет.

— И-и-и! — подивились оговорщики такой простоте. — Умно! Смела! Она, лиственка, будто в керосине варена. Хорошо гори-ит!

— Жалко! — сказал кто-то с обидою в голосе. — Помрёт хорошее дерево.

— Ничо не поделаешь, — ответили ему со вздохом. — Другого выбора нету. Как мы ещё-то Савелия доймём?

На том уговоре и согласились удалые.

Сошлись они к ночи, кто прихватил пилу, кто кресало, а кто и керосину для верности. И отправились к белому камню безо всякого шума.

На подходе видят мужички: стоит кто-то в тени лиственницы! Стоит и смотрит на савельевские окна. Вот нечистая сила!

— Брюхан караульного выставил, — ляпнул кто-то.

— Ну да! — не согласились с ним. — Кабы он о чём сдогадался, скорее бы дерево спилил.

— Твоя правда, — поддакнул третий. — Не одни, видно, мы заботимся о Савелии.

Стали они присматриваться.

– О! О! – поразились удалые, когда сторож повернулся к ним бородой. – Акентий!

– Господи, помилуй!

– Живой!

– А-та-та-та-та... Допрыгался Савелий Брюхов!

– Не зря его Кондратий колдуном упреждал.

– Не зря...

– Теперича и нам тут делать неча.

– Как это неча? Поглядим, что дальше будет.

Остались удалые глядеть.

Скоро на савельевском подворье затихла всякая канитель. И приозёрный лес вроде стал похрапывать под ясной луною, и смотрельщики запозёвывали, крестясь, – хоть ложись да руки под голову клади. Но когда Акентий отлип от лиственницы и неслышно стал огибать белый камень, чтобы подойти поближе к воде, глядельщики не то про зевоту, про осторожность забыли.

Однако Акентий даже не оглянулся на ясный шорох позади себя.

– Он чо, спиною видит? – подивился один смотрельщик.

– Понимает, видно, пошто мы тут оказались, – надоумил другой.





— Тихо вы, дьяволы! — шумнул третий.

Остановился Акентий у самой воды. Постоял, послушал ночной покой и потянулся руками вперёд, будто, наскучавшись по милой сердцу вотчине, хотел обнять озеро по всему окоёму. И засветилась навстречу ему озёрная вода, и начала полниться под его ладонями радостным светом...

Чудилось удалым, будто бы кто-то живой сидит в чёрной глубине и одну за другой зажигает цветные свечи. Вот уж полыхнуло из воды и рассыпалось до звёзд несказанное сияние. Колдун же, не отрывая глаз от сквозной глубины, подгребнул перед собою руками пустой воздух и подбросил его, будто вызывал из озера неведомые силы. И вот побежала от Акентьевых ног по тихой воде мелконочная зябь, восходящей волной докатилась до середины и стала подниматься горбом!

— Вот страх-то! — потом говорили другим изумлённые гляденьщики. — Щас, — думаем, — пойдёт на берег вода стеною — хана! Всю деревню зальёт! И знаем, что бежать надо, только ноги к земле приморозило.



Скоро вода стала опадать и расходиться на стороны неторопкой волной. Не успела она дойти до берега, как на ровной озёрной глади увидели мужики светлый дворец. Да такой, который не нашими руками строился! Кабы можно было его пощупать, тогда бы глядильщики поняли, из чего сотворена была красота такая, что и смерть перед нею оказалась нестрашной.

Тут на дворцовое крылечко выпорхнула из двери махонькая девчонка, будто рыбка золотая, заискрилась она своим сарафаном да кинулась бежать по воде, как по заливному лугу, прямёхонько к старому Акентию.

Вот уж обхватила девчонка его шею, смехом радостным звенит. А старик нагнулся к ней, шепчет что-то на ухо да показывает на темечко белого камня.

Должно быть, девчонке-то не первый раз Акентия понимать – мотнула она головёнкой и побежала к тому месту, где долблённая лесенка в озеро окунулась. Скоро уж эту стрекозу мужики наверху увидели. Весело помахала она колдуну рукой и скрылась в савельевском доме.

Шибко долго она не заставила себя ждать: вот уж ведёт за руку прямо к воде самого Савелия Брюхова. А тот как спал, так и вышел на луну босой да в рубахе выше колен. Только на голове поштой-то шапка нахлобучена. Спросонья, должно, понимал, что одеться следует, да не сообразил до конца.

– Щас утопит, – шепчутся глядильщики.

Но не-ет! Ничего подобного. Повела девчонка Савелия по воде, как сама только что шла. Сперва он всё вздрагивал, но скоро осмелел и пошёл босяк вытаптывать – может, думал, что сон видит. Девчонка впереди торопится, а он приотстал, топотит. Когда же увидел, что она успела уже на крылечко взбежать, да ещё и ларец ему навстречу вынести, – галопом попёр.

На берегу Акентий-колдун даже засмеялся.

Взлетел Савелий на дворцовое крылечко и завертелся у ларца. Хвать-похвать! Ни карманов нету, ни пазухи. Хотел было длинную рубаху с себя стянуть – девчоночки постеснялся. Под рубахой-то у него одни родимые пятнушки были.

Ах ты, мать честная!

Давай Савелий тогда из ларца в шапку нагребать.

Девчоночка ему о чём-то толкует, а он, знай, хватает. Нагрёб целую шапку, на пузо взгромоздил и бегом по воде домой! – успеть бы повторить этакую радость.

Но оказалось, что шапка не пухом набита. Савелий её и на плечо вскинет, и на голову вознесёт, и обратно на живот вернёт. Даже с берега видать, как мужик уработался.

Где-то посередине пути Савелий сообразил, что не донести ему до берега ношу свою. Остановился он в досаде, оглянулся – назад вернуться, отсыпать маленько добра-то, но понял, что и обратную дорогу ему не одолеть. Да и светлый дворец стал уже под воду уходить: девчоночка с крыльца Акентию машет – прощается.

Глянул и Савелий в ту сторону, увидел колдуна, и повалилась из его рук шапка. Ударилась шапка о водяную гладь – покатился звон до самого леса. Хотел Савелий шапку поймать, да следом за ней и нырнул в поддонную глубину.

Напоследок вынырнул, заорал – в деревне люди слышали, но спросонья не поняли, в чём дело.

А над водою озёрный туман поплыл. Затянул туман непроглядною пеленою недавнее сияние, канул в гуще его и камыш, и прибрежный сосняк, и Акентий-колдун...

Глядльщики сунулись было уходить, да куда ни ступят, всюду у ног береговая топь. Пришлось повременить. Когда же туман полёг росою на приозёрные травы, оказалось, что небо уже вовсю зарится, звёзды зажмурились от раннего июльского солнца.

– Глянь-ка, робя! – шумнул один из мужиков. – Не то Савелий плывёт?!

– Иде? – кинулись к берегу остальные.

– Да вона! Вон! Видите, вода усами расходится?

– И то! – теперь уж и слепые приметили тёмную точку на воде.

– Эт, твою судьбу мать! Подай-ка палку – щас я его встрену по башке, – встрепенулся самый бойкий.

– Погоди ты, стой! – успел охладить его ближний. – Ет же не Савелий! Помереть мне, не Савелий!

– Хто тогда?!



– Да никто. Шапка Савельева плывёт...

– Правда, шапка!

Покружила шапка, будто живая, между кувшинок и, как щенок, сунулась в берег, где поспособнее было её взять. Потянулся кто ближний, наклонился, причалил её к сухому месту. А она полна золотого добра – только через край не сыплется.

– Как же не потонула?!

– А ты у Акентия спроси...

Хотели бы мужички разом поднять шапку, да не тут-то было! Больно тяжела! Не то в воду – в землю можно провалиться от такой тяжести.

– Ого! – помянули мужики Савелия Брюхова. – Крепкий был барин – вода ему пухом. Не изработанный.

Всею деревней на то Акентьево золото выкупили селяне с каторги Кондратия Мешкова. Далеко успели загнать бедного. Так далеко, что и с этакой деньгою еле до него дотянулись. Вернулся Кондратий, женился и стал в откупленном у казны доме на белом камне жить.

Больше Акентия-колдуна никто не видел. Но памятку об себе ухитрился он людям оставить!

Когда у Кондратия Мешкова, после двух сыновей, появилась дочка, да когда она маленько подросла, так мужики, что были на озере в ту памятную ночь, распознали в ней знакомую девчонку. Как две капли воды схожа она была с тою, что увела Савелия Брюхова в Синее озеро.





СЛОВАРЬ

БЕЛАЯ ИЗБА – порою так называлась штукатуренная и побелённая часть дома.

БЛАЖЬ – прихоть, каприз.

ВАЛЁК – приспособление, нужное при полоскании белья.

ВЕРЕТЕНО – приспособление для накручивания при прядении нити.

ВЕСЁЛКА – деревянная лопатка для помешивания квашни.

ВОЗНИЦА – кучер.

ВОЛДЫРЬ – пузырь, высокая опухоль.

ВЫКОБЕНИВАТЬСЯ – куражиться, манерничать.

ВЫТУРЯТЬ – выгонять.

ГОРБЫЛЬ – повдоль спиленная боковина бревна.

ЕЛАНЬ – лесная поляна.

ЖИВИЦА – отвердевшая сосновая смола.

ЖУЛАНЧИК – детёныш хищной птички.

ЗЕМСТВО – управа, первая степень суда.

ИСПОДНЯЯ – нательная.

КАЗАНСКАЯ сирота – от слова «казать», показывать.

КАМЗОЛ – долгий жилет.

КУДЕЛЯ – пучок льна, пеньки, шерсти, приготовленный для прядения.

ЛАПНИК – сосновые ветки.

ЛУКЕРЬЯ-комарница – 26 мая.

ЛУПЦОВКА – битьё.

НАВОЗ горит – перепревая, навоз сильно нагревается.

НАРОЧНЫЙ – курьер, посыльный.

НЕДУЖНО – болезненно.

ОБОЛДУЙ – невежа, болван, грубый мужик.

ОГЛАШЕННЫЙ – изгоняемый, преследуемый.

ОГОЛЕЦ – бедняцкий голодный ребёнок.

ОКАЯННАЯ – нечистая сила.

ОКОЁМ – в данном случае, весь берег.

ОТУПЕНЬ – умственное затруднение.

ПАРЯ – обращение от слова «парень».

ПАРХАТЫЙ – золотушный, шелудивый.

ПЕРЕСЫЛЬНАЯ тюрьма – временное пристанище для идущих на каторгу.

ПОВЕТЬ – чердак, сеновал.

ПОДВОРЬЕ – двор со всеми постройками.

ПОЛАВОЩНИК – льняные полотенца, стелимые на лавки.

ПОСВЕТИТЬ – поджечь, запалить.

ПОСТРОМКИ – упряжь.

ПРИМАК – мужчина, живущий в доме жены.

ПРЯСТЬ – тянуть из кудели кручёную нить.

РЯМ – густые заросли мелких кустов.

САДАНУТЬ – ударить.

САМОСАД – самый простой табак.

СЕДМИЦА – неделя.

СЕМЁН-день – 14 сентября. С этого дня по 21 сентября – старое бабье лето.

СИЗАРИ – жандармы, носившие мундиры синего сукна.

СОЛОДЕЛОЕ – заплесневелое.

СОЛОНЧАК – почва, перенасыщенная солью.

СТАКНУТЬСЯ – собраться, сойтись.

СТРАТИЛАТ-тепляк – 1 сентября.

ФЕДОРИН день – 24 сентября.

ХАЛУЙ – лакей, подлипала, наушник.

ХОРОХОРИТЬСЯ – казаться храбрым.

ЧЕРТИ – считалось, что черти дерутся на самой ранней заре.



С ОДЕРЖАНИЕ

Соболёк-королёк	3
Кирьянова вода	18
Пройда	39
Акентьево озеро	54
Словарь	69

Художник
Лазарева Любовь Павловна

**Таисья Ефимовна
Пьянкова**

СОБОЛЁК-КОРОЛЁК

Редактор Н.К. Герасимова
Технический редактор Н.Т. Фёдорова
Корректор Т.Ю. Сенокосова

Подписано в печать 17.01.14. Формат 60x84/8.
Усл. п. л. 9,0. Печать офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.
ООО «Сибирское книжное издательство». 630099, Новосибирск,
ул. Орджоникидзе, 33. Типография ООО «Манускрипт-СИАМ»